

ЛЕОНИД САКСОН

«Я, ОТРОК, ЗАЖИГАЮ СВЕЧИ...»

Дети-поэты Англии

*Посвящаю эту книгу вокальной группе «Libera» —
белой, как снег,
прекрасной, как сон,
реальной, как все живые дети.*

Сколько бы книг впереди мне ещё ни оставалось, ближе этой теме мне не найти. Не потому, что английские дети якобы поэтически одарённой всех других, а потому, что, на мой взгляд, именно Британия дала им возможность высказаться по-настоящему — хотя и в ней столь рискованный процесс не всегда протекал без осложнений. Однако не стоит пока забегать вперёд, и, кроме того, я не претендую на создание «общей картины».

В том, что последняя всё же существует, и понятие «мировая поэзия детей» столь же реально, как соответствующее взрослое понятие, я не сомневаюсь. Разумеется, её должны составлять не малограмотные «пробы пера», а нечто более серьёзное. Насколько оно должно быть серьёзным, это НЕЧТО? Приведу пример (хотя многие сочли бы его антипримером, но зато я начну свой труд весело и живо), конечно, читателю известный — из «Приключений Гекльберри Финна». Помните там «Оду на кончину Стивена Даулинга Ботса», написанную покойной девочкой Эммелиной Грэнджерфорд?

Хворал ли юный Стивен,
И умер ли он от хвори?
И рыдали ль друзья и родные,
Не помня себя от горя?

О нет! Судьба послала
Родным иное горе,
И хоть они рыдали,
Но умер он не от хвори.

Не свинкой его раздуло,
И сыпью не корь покрыла —
Нет, вовсе не корь и не свинка
Беднягу Ботса сгубила;

Несчастною любовью
Не был наш Ботс сражен;
Объевшись сырой морковью,
От колик не умер он.

К судьбе несчастного Ботса
Склоните печальный слух:
Свалившись на дно колодца,
К небесам воспарил его дух.

Достали его, откачали,
Но уже поздно было:
Туда, где нет печали,
Душа его воспарила.

«И это, по-вашему, поэзия? — спросят меня те избранные, которые в самом деле «склонят печальный слух». — Изволите шутить вслед за Твенем? А может, собираетесь превзойти в остроумии и его?» Нет, у меня ничего такого и в мыслях не было. Но давайте послушаем комментарий к стихам самого автора, вложенный в уста нашего общего друга Гека Финна:

«Если Эммелина Грэнджерфорд умела писать такие стихи, когда ей не было еще четырнадцати лет, то что бы могло из нее получиться со временем! Бак говорил, что сочинять стихи для нее было плевое дело. Она даже ни на минуту не задумывалась. Бывало, придумает одну строчку, а если не может подобрать к ней рифму, то зачеркнет, напишет новую строчку и жарит дальше. Она особенно не разбиралась и с удовольствием писала стихи, о чем угодно, лишь бы это было что-нибудь грустное. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успеет, а она уж тут как тут со своими стихами. Она называла их «данью покойному». Соседи говорили, что первым являлся доктор, потом Эммелина, а потом уже гробовщик; один только раз гробовщик опередил Эммелину, и то она задержалась из-за рифмы к фамилии покойного, а звали его Уистлер. От этого удара она так и не могла оправиться, все чахла да чахла и прожила после этого недолго. Бедняжка, сколько раз я заходил к ней в комнату! И когда ее картинки расстраивали мне нервы и я начинал на нее сердиться, то доставал ее старенький альбом и читал.

Мне вся эта семья нравилась, и покойники и живые, и я вовсе не хотел ни с кем из них ссориться. Когда бедная Эммелина была жива, она сочиняла стихи всем покойникам, и казалось несправедливым, что никто не напишет стихов для нее теперь, когда она умерла; я попробовал сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло».

А теперь я хотел бы прокомментировать всё это серьезно, начисто убивая подозрение, будто я решил «перешутить» Марка Твена. Я не рассчитываю превзойти его и в глубокомыслии. Мне просто хочется понять, для чего он всё это пишет. Кажется, загадки тут нет: чтоб высмеять неразборчивость юной Эммелины, которой всё равно, о чём писать и кого оплакивать, только бы выходило погрустней. Хорошо, эта цель автором достигнута, и то, что Эммелины Грэнджерфорд, как и тех, кого она так оплакивала, никогда не существовало, дела, само собой, не усложняет. Но представим себе, будто подобные стихи пишет, и пишет, и пишет, закрывшись у себя в комнате, реально существующее дитя — скажем, ваша дочь. В городишке, где вы живёте, все посмеиваются, а вот вам уже не до смеха. Вы приходите в комнату вашей Эммелины (Долорес, Насти, Мари) и начинаете воспитательный разговор:

— Зачем ты так ведёшь себя, а? Хочешь, чтоб нас подняли на смех?

— Вовсе нет, папочка. Наоборот, я хочу грустить.

— Грустить? О чём? У тебя всё есть. Или ты думаешь, что тебе всерьёз чего-нибудь не хватает с таким отцом?

(Ответ девочки зависит от того, насколько она по натуре откровенна. Но, допустим, она не скрытная, любит вас, доверяет вам).

— Мне не хватает ВСЕГО, папа. Если честно, мне даже жить не хочется. Иногда...

— Иногда? Ну что ж, хорошо, что не всегда. Так ты же ещё и не жила, дочка! Ну что ты знаешь о жизни? Вот когда ты узнаешь её по-настоящему...

— Я не хочу знать её СОВСЕМ. Мне уже и этого много.

— Почему?

— Не знаю...»

Предоставим реальному родителю решать, выслушав такое, что он сам знает о ребёнке, и заметил бы он что-нибудь, или нет, если б не стихи. И вспомним странноватый для столь сатирического текста финал, к которому пришёл добрый Гек: «Когда бедная Эммелина была жива, она сочиняла стихи всем покойникам, и казалось несправедливым, что никто не напишет стихов для нее теперь, когда она умерла; я попробовал сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло». Выходит, и смешное сочувствие может рождать в окружающих вовсе не смешной отклик? И всё просто зависит от того, кто тебя услышал? (А зато, наверное, не так просто заставить Гека Финна писать стихи? Хорошо, что это не входило в его обязанности, покуда он ещё ходил в школу: обломав об него все розги, учитель, пожалуй, кликнул бы на помощь его папашу).

Так насколько же должна быть серьёзна «мировая поэзия детей», чтобы соответствовать своему названию? Я бы ответил: её делает поэзией любое сильное, искреннее чувство, если оно изложено хотя бы с минимумом поэтической грамотности. А дальше надо подходить индивидуально, и тогда неминуемо окажется, что и у детей есть поэты плохие, средние и великие. Только доступа к их стихам у нас очень часто нет, или же подход у «просвещённого родителя» / руководителя литобъединения однозначный: ему всё равно, что реально может ребёнок, куда идёт; главное, он идёт, и надо скорей вытащить его на авансцену. Или, наоборот, втолковать ему с присущим нам здравым смыслом, что в его возрасте не принято писать что-то стоящее, а ежели написал, значит, подражал, и вы, кажется, даже знаете, кому. И лучше всего не только всё это не печатать, но и не показывать окружающим.

Полагаю, когда-нибудь на свет божий появятся более серьёзные книги по данной теме, чем моя. Моя же задача - предложить свои переводы английских детей-поэтов, ранее русскоязычной публике не известных, а также дать краткий комментарий. В выборе текстов я очень многим обязан Эдварду Люси-Смиту, автору предисловия к сборнику стихов Тома Холта — сохранив при этом, надеюсь, свободу собственных мнений и оценок.

Все стихотворные и прозаические тексты, цитируемые ниже и составившие данную книгу, переведены мной, если переводчик не указан особо.



Моё вступительное слово о Томе Холте, к сожалению, лишено идиллических тонов. Не так хотел бы я начать рассказ о поэтической Стране Детства, право гражданства которой в данной книге даёт возраст, и только возраст. (Всякий другой подход был бы чистой воды дискриминацией, ибо понятия «детскость» - «взрослость» довольно спорны даже и среди современников, а уж История и подавно делает с ними что захочет. Достаточно вспомнить, для кого нынче предназначены «Гулливер» и «Робинзон Крузо», считавшиеся в восемнадцатом веке взрослой и политизированной литературой). Но поскольку лишь Питер Пэн потребовал себе автономии от будущих взрослых посягательств, всегда приходится исходить из того, чего хочет сам ребёнок. В данном случае – Том.

Официальная версия событий, которую мне придётся комментировать, такова. Юный лондонец Том Холт (Thomas Charles Louis Holt, род. 13 сентября 1961 г.) в возрасте с десяти до двенадцати лет, исходя из печатной датировки его сборника, или с семи до одиннадцати, как это по неизвестной мне причине утверждает Э. Люси-Смит, создал ряд стихов. Его мать Хейзл, многолетний редактор изданий Международного африканского института в Лондоне, передала рукопись Тома литературному агенту. Последний был поражён мастерством мальчика и организовал для его первого и единственного сборника («Poems by Tom Holt», 1973) газетно-телевизионную рекламную кампанию. А в 1975 году бывший главный редактор журнала «Англия» Нед Томас представил его советскому читателю (Два поэта наших дней. 1. Сэр Джон Бетчман. 2. Том Холт. — Англия, 1975. — № 3 (55), стр. 50—58, 61).

Приведём (в нашем формате) отрывок из этой публикации - рассказ Тома Холта, первоначально написанный для журнала «Вог» в переводе Н. Томаса:

Мой День

Со стула в ногах постели на меня
с упреком глядит одежда. В раннем
утре всегда кроется что-то укориз-
ненное — всегда оно раньше меня
на ногах и в полном облачении.
Внизу, будто два одержимых за-
вистью метеорита, носятся кошки.
Громко жалуются на то, что за
каждой дверью льет дождь и что

нельзя выбраться на улицу через высокие стоячие часы. Но это будет Хороший День. Не видать ни одной из Тюремных Теней — каникулы, никакой школы.

В Британском музее живет привидение, и (по Хорошим Дням) можно увидеть, как, вооружившись блокнотом и фотоаппаратом, оно безмолвно скользит среди хеттов и самых древних греков, временами останавливаясь, чтобы раскланяться со знакомым ассирийцем или персом. При дальнейшем рассмотрении оказывается, что оно — это я. Во всех этих вазах и фризах бьет странная, но необоримо присутствующая, жизнь. Фидий умер, обратился в прах, но его творения подняли его из могилы. Творения эти, которые я так люблю, полны жизни, и каждый из сражающихся с амазонками греков, каждый хеттский бог-громовержец — мой личный друг. Мне представляется, как они родились — потому что они родились, а не были вырублены из камня — в месте, которого я никогда не узнаю, от людей, которых я никогда не увижу, — и я стою среди них, случайный прохожий, всадник у городских ворот. Когда я покидаю музей, мне чудится будто я сквозь пламя возвращаюсь в другой, более бессмысленный мир, где все нелогически логично и все происходит в силу одной безумно разумной причины, никакого отношения не имеющей к единственно реальной причине красоты.

Вернувшись домой, я до ужина валяюсь на кровати с «Илиадой» (сын Филея Мегес только что ударил копьем Долопса). Пока я жду, оглушительно безмолвное многоцветное чувство незримо подкрадывается ко мне и вежливо покашливает у меня за спиной: «Не пригодится ли тебе бедное старое чувство, которое в наше время не очень-то пользуется спро-

сом? Брось стишок старой мысли-солдату, шеф».

Вот я и написал:

Последние слова Раскаса

Не тревожьтесь вы обо мне,
Я возвращусь домой.
Вышел из тьмы я сюда —
Там лишь теней увидишь одних.
Много раз я в могилу глядел —
теперь
Вверх из могилы я смотреть
Стану, вот и вся разница.
Сладок мне мой покой,
Я недвижим, колесницы мчатся,
И сочится на череп мой дождь.
О, не будите, прошу, зовом труб
Поутру, стуком древками копий по
брусчатке.
Пройдя надо мной, скажите лишь:
«Чудесный день, это мясо остыло,
он мертв».
К корню дерева преклоню я
Главу, уставившись в пыль,
Что мне забила глазницы.
Не вспоминайте меня —
А то мне не будет сна.

Единственное, как я могу объяснить вдохновение, это то, что оно вроде случайного посланца богов, бросающего в толпу мысль в надежде, что ее подхватит поэт. Иначе ее втопчут в городскую грязь. Одни идеи доходят чистыми и невредимыми: это — «любовь» и «надежда». Однако другие оказываются довольно потрепаны жизнью и действительностью. Это такие идеи как «смерть», «недоверие», «ненависть». Я нахожу, что они обычно захватаны и искалечены — другие прохожие бросили их потому, что они не слишком хороши. Отсюда — мое увлечение «смертью», «распадом».

Я больше не считаю себя ребенком. Я никогда не буду считать себя взрослым. Я просто пара плавающих в пространстве глаз, непонятно каким образом присоединенных к туловищу, рукам и ногам. Но я не думаю признавать, что лицо, которое я вижу в зеркале, это мое лицо только потому, что тело, которое ему дано, одето в

мою рубашку и брюки. Нет, это дух зеркала, один из тех неуловимых спутников, которые следуют за тобой повсюду, в зеркалах, в пламени, в полированных крышках столов. С завистью заглядывает он через конек крыши моей жизни и вздыхает, его звуки — шуршание моих ног по ковру.

На лестнице грохот. Освободив форт Апачи, кошки решили обратиться в валькирий. Внезапно стук бегущих лап обрывается, уступая место восточным заклинаниям, когда Гектор, бирманский котенок общительного и неистощимо веселого нрава, по неизвестной причине родившийся без хвоста, впивается когтями в извивающийся отросток, которым со свистом размахивает Фоксби, Самый Огромный Спамский Кот из всех, живущих в неволе. Получив как следует по носу, бесенок поменьше скатывается с лестницы, за ним во весь опор мчится Чудовище Черной лагуны.* Пока я лечу назад, навстречу царственному Гектору, под стены Трои, вновь воцаряется мир. **Н**

*Американский научно-фантастический фильм, поставленный несколько лет тому назад, ставший предметом своеобразного культа.

Успех был, можно сказать, международным. Ещё бы! Ведь Том, по сути дела, побил «мировой рекорд» Артюра Рембо, который начал писать стихи не в двенадцать, а в пятнадцать, и обессмертил себя совсем не ими, а своею ритмизованной прозой. Правда, Э. Люси-Смит, почтительно и осторожно сравнивая Холта с французским мэтром, уж слишком ожидает несостоявшихся, как он сам признаёт, различий в их творчестве из-за половой зрелости Рембо (можно подумать, она-то и есть залог поэзии...), но в принципе такое сравнение напрашивается само собой.

Двенадцатилетний Том был «к его ужасу» (сие выражение без объяснения причин присутствует во всех кратких аннотациях) объявлен вундеркиндом и надеждой английской поэзии. Его уверения о том, что над ним из-за этого издевались в школе, и что всё это отравило ему детство, бесспорно, заслуживают внимания при объяснении словечек «ужас», «вундеркинд поневоле», «писанина», «с упоением лоботрясничал» и т.п. Именно такими словами пестрят его сегодняшние популярные биографии, представляющие публике Тома Холта как бывшего адвоката и успешного автора юмористических «фэнтэзи» в духе Терри Пратчетта: налетайте и покупайте! Неясно лишь: а разве Том и впрямь не был вундеркиндом? Разве многие дети в мире способны так писать в нежном возрасте? Или ребёнка силой вынудили участвовать в собственной рекламе? В рассказе Тома «Мой День», который мы привели отчасти и для того, чтоб представить себе психологию мальчика, увенчанного ранней известностью («Вог», в частности — американский ежемесячник, один из самых модных журналов мира), нет и намёка на какую-либо стеснительность, ущемлённость... а порой и на обыкновенную скромность. «Интеллектуальный

супермен» просто-напросто не даёт бедняге-читателю опомниться, «бомбардируя» его греками, кошками, чудовищами и хлесткими фразами типа: «бессмысленный мир, где всё нелогически логично и всё происходит в силу одной безумно разумной причины, никакого отношения не имеющей к единственно реальной причине красоты». Нет, если кто и должен был испытывать «ужас», то это мать Тома, Хейзл...

Э. Люси-Смит, стараясь для завоевания читательских симпатий представить Тома выходцем из средних классов, бегло упоминает о его отце – директоре неназванной фирмы, и о какой-то безымянной «дэй скул» в лондонском Илинге, куда ходит мальчик. Следует заметить, что Вестминстерская школа, о коей речь, существует уже восемьсот лет - её основали братья-бенедиктинцы - и является одной из самых элитарных и дорогих частных школ Британии. У неё самый высокий мировой показатель поступлений в Оксфорд и Кембридж из колледжей её типа (Том позже окончил Оксфорд). В этой школе учились Бен Джонсон, Драйден и Саути, Гиббон и Локк, а поближе к нашему времени - А.А.Милн (автор «Винни Пуха»), Питер Устинов, Хелена Бонэм Картер и многие, многие другие, имеющие со средним классом мало общего... так сказать, «Винни Пух и все-все-все». Впрочем, «особая атмосфера» данного заведения, как выражаются его попечители, была бы ясна после одного факта, что его окончили семь будущих премьер-министров страны. Нетрудно предположить, что в подобных местах духом снобизма поражены как правило стар и мал, и скорей уж там будут высмеивать тех, кто ничем не примечателен, чем тех, кто уже блеснул. Короче говоря, уважаемые комментаторы, и даже уважаемый Э. Люси-Смит, что-то уж очень просто у вас всё выглядит... по одним и тем же соображениям, может статься.

Правда, существует «царица доказательств» - сегодняшняя позиция самого автора. Впоследствии Том никогда больше к писанию стихов не возвращался, и в интервью онлайн, взятом у него Венди Грэм (точная датировка отсутствует, однако судя по тексту прошло уже не меньше четверти века), заявил, что сжёг все свои ранние стихи и рассказы, что его созданный по малолетству сборник «ужасен», что он уничтожил все экземпляры, какие мог, и лишь ещё 3000 их не найдены. А жаль!

Мало того. В интернет-магазине «Amazon.com» в 2014 году, где продавались отдельные экземпляры сборника — всего только девять штук, есть из-за чего волноваться маститому автору романов! — появляется комментарий Тома: «I think it's awful, and I wrote the horrible thing, when I was too young to know any better. Don't waste your money». («Я думаю, это ужасно, и я написал страшную вещь, когда был слишком мал и не понимал, что делаю. Не тратьте ваши деньги»). Наперекор столь категорическому вердикту чуть позже в том же году появляется комментарий некой читательницы: «Я не читала всю книгу, но когда я была ребёнком, прочла его стихотворение «Statistics» («Статистический» - Л.С.) в журнале «Great Britain». Это была очень мощная поэзия, и было трудно поверить, что писал мальчик. У Тома Холта старая душа. («Tom Holt is an old soul»)). Кстати, это не единственные читательские восторги в Интернете по поводу «Statistics» (а у меня, надо сказать, к таким вещам отношение очень избирательное. Я могу не проявить никакого пиетета к признанию, которое увенчано Нобелевской, о чём ещё будет речь, и в то же время обратить самое пристальное внимание на одно-единственное неофициальное мнение). В данном случае перед нами скромных 4 комментария к чьей-то просьбе помочь разыскать стихотворение, которое цитируют все, кто пишет о Томе Холте-поэте: https://www.reddit.com/r/Poetry/comments/3rg4d8/help_statistics_poem/ И вот один из читателей вспоминает, как когда-то его учитель английского читал этот стих много лет назад (видимо, в классе детям – Л.С.), и можно попробовать

обратиться к его сыну, нет ли у него текста. «Если я найду, то не забуду прислать вам, если вы ещё не читали, это сильная поэзия («its a powerful piece of poetry»)). Но кончается всё благополучно, текст найден и процитирован. Процитируем этот стих и мы, и, быть может, он ещё пригодится нам в дальнейшем:

STATISTIC

My life is a curtained window,
A refraction of light in the mirror,
I am a flash in a snow-covered field,
Brilliant in brightness,
Not a torch in the mist
But in clear daylight.
I am the herald before the king
In bright silk, overshadowed
And so forgotten.
I am the unidentified face in the album,
A passport name, a reply in a census,
One more figure in the population statistics,
Dead while I am alive,
Only alive when dead
Until the statistics are changed.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

Моя жизнь – зашторенное окно,
Отражение света в зеркале,
Я – высверк в заснеженном поле,
Бриллиант среди блеска,
Факел – но не во мгле,
А средь ясного дня.
Я герольд перед королём -
В тени его шелков
Так забыт!
Неузнанное лицо в чужом альбоме,
Фамилия в паспорте, строчка в переписи,
Ещё одна цифра в статистике населения,
Мёртвый при жизни,
Оживающий, лишь когда
Статистике пора измениться.

1973

Ужасно, не правда ли? «Потуги малолетнего лоботряса». Двенадцатилетнего, точней...

У сборника Тома Холта есть важная особенность, которой не отличается разве что цитированное выше стихотворение и мимо которой не может пройти даже Эдвард Люси-Смит, видимо, искренне расположенный к своему юному протеже.

Этот сборник ничего не сообщает об авторе.

Вы не узнаете из него СОВСЕМ НИЧЕГО о его вкусах, характере, привычках, семье и окружении. Вы узнаете КОЕ-ЧТО НЕМНОГОЕ о его отношении к войне – любой, а особенно – Первой мировой, что можно выразить понятиями

«пацифизм» и «мораль потерянного поколения». И хотя сам Том войны никогда не видел, ей посвящено, наверно, не меньше трети стихов. Вы узнаете также, что Том не верит в бога, высмеивая веру в загробную жизнь и Страшный суд, и считает вполне естественным постоянное соседство Жизни со Смертью в мироздании. Отвечая на вопросы Венди Грэм по поводу сборника, он назвал тему смерти основной для ранних стихов, и когда журналистка выразила вежливое недоумение такой тематикой для двенадцатилетней Музы, уверил её, будто он не помнит причины: ведь прошло уже много лет... Постоянная привычка мистера Холта давать уклончивые ответы на вопросы в конце концов вынудила журналистку на миг потерять терпение и спросить:

WG 'You're very good at avoiding really answering questions, aren't you?'

TH 'Thank you. You're too kind'

(«Вы прекрасно умеете избегать реальных ответов на вопросы, не так ли? – Благодарю вас, вы чересчур любезны»).

Не помогает при осмыслении тематики Тома Холта и наше обращение к более свежему источнику: всё тому же рассказу «Мой День». Цитируем: «Единственное, как я могу объяснить вдохновение, это то, что оно вроде случайного посланца богов, бросающего в толпу мысль в надежде, что её подхватит поэт. Иначе её втопчут в городскую грязь. Одни идеи доходят чистыми и невредимыми: это «любовь» и «надежда». Однако другие оказываются довольно потрепаны жизнью и действительностью. Это такие идеи как «смерть», «недоверие», «ненависть». Я нахожу, что они обычно захватаны и искалечены – другие прохожие бросили их потому, что они не слишком хороши. Отсюда – моё увлечение «смертью», «распадом»». (С. 57-58). Возможно, читатель журнала «Вог» (или хотя бы «Англия») и сочтёт, будто ему что-то объяснили, но у меня после такого пассажа остаётся впечатление, что юный автор попросту уклонился от ответа на вопрос, который сам же себе и задал. Принцип, с детства усвоенный? Единственная реальная «зацепка» в тексте всей публикации Н. Томаса – упоминание журналиста о намерении Тома стать археологом. Намерении, оставшемся неосуществлённым.

Короче говоря, мир Тома Холта – скопище пороков и недостатков, объект «ума холодных наблюдений без сердца горестных замет». Для взрослой поэзии – обыденность. Для детской можно бы ограничиться привычным словом «подражание». Но, во-первых, если подражание, то кому? А во-вторых, холодная уверенность мастера, очевидная любому читателю, говорит о вполне устоявшейся эстетике, которая, так сказать, никого чужого не пустит в дом, а если пустит, то на своих условиях. Афишируя последние, или нет.

Не будем поэтому спешить с удобными ярлыками. Э. Люси-Смит вовремя узнал, что Том на момент создания сборника не читал Рембо, но всё же провёл развёрнутое сравнение между ними. Он сообщает также, что юный Том считал своим кумиром Т.С.Элиота и даже, мол, заявил: «Если бы я мог написать хоть одно стихотворение, как Элиот, то умер бы счастливым». К счастью, мне не нужно излагать биографию и подробно цитировать стихи лауреата Нобелевской премии 1948 года Томаса Стернза Элиота (1888-1965). Я не вижу реального влияния последнего на стиль Тома Холта. Но и игнорировать заявление мальчика (да ещё в таких «превосходных» выражениях!) не стоит, оно многое может объяснить по поводу его тем, и впрямь занятых для «двенадцатилетней Музы». Посему уделим три-четыре страницы (меньше, к моему огромному сожалению, не получится) недостижаемому кумиру Тома, который важен нам не сам по себе, а как «итог и предтеча» некоторых грустных процессов в англоязычной и мировой поэзии. Как сказал бы Мольер: «Кой чёрт понёс его (Тома, а не Элиота – Л.С.) на эту галеру?». Обещаю, что не буду заниматься

досужим лекторством: всё, сказанное об Элиоте, пригодится нам при истолковании поэзии Тома Холта.

На разочарование в идеях Просвещения и Великой французской революции девятнадцатое столетие ответило всплеском романтизма, в результате чего на троне англоязычной поэзии оказался Байрон. Он идеально соответствовал своей роли, обладая не только поэтическим даром, но и рядом выдающихся личных качеств. А уж если ты, кроме всего прочего, ещё и делаешь что-то – освобождаешь, например, Грецию от турок, пусть даже не очень в это веря, – то никто никогда в твоём праве не трон не усомнится. К тебе можно охладеть, тебя можно даже забыть... но не свергнуть.

Но век спустя (торгашеский век, полный новых разбитых иллюзий, новых обманов, век работных домов и всяческих «ярмарок тщеславия», когда стивенсоновский принц Флоризель, изгнанный из родной Богемии, кончил свои дни симпатичнейшим из лондонских лавочников) ситуация стала поистине плачевной. Старая романтическая эстетика больше «не работала», достойной замены не было. Англо-американская поэзия испытывала упадок. Нужно ли говорить, что и мировая война не принесла нового воодушевления? Правда, деморализация общества нередко рождает новый подъём поэзии – как тот, о котором шла речь выше. Да только деморализация деморализации рознь... Первая породила романтизм и противопоставила Обществу Высокую Романтическую Личность. Вторая же породила модернизм и – устами его мэтра Т.С. Элиота - отменила Личность Вообще, что было на руку абсолютно любой власти. Ведь только Личность способна взбунтоваться всерьёз, с толпой управиться легче.

Главными принципами поэзии Томас Стернз, во времена Первой мировой перебравшийся из США в Англию, провозгласил «бегство от эмоций» и «бегство от личности». Чтобы как-то всё же их, эмоции, выражать, он ввёл понятие «объективного коррелята»: чувства, мол, передаются не прямо, а формами, ситуациями, событиями, которые должен верно истолковать читатель. Иначе говоря, вспомогательный приём, далеко не всегда срабатывающий даже и после основных, и требующий как минимум УЖЕ НАЛАЖЕННОГО душевного контакта с читателем, объявляется основным и всеуспешным...

Разумеется, подобная «операция на сердце» была делом не простым. Казалось бы, даже невозможным. Внушить огромному количеству умных и грамотных людей, всегда почитавших литературу, а наипаче всего - поэзию Человековедением, что главное теперь – не личность и не её эмоции, а их методичное сокрытие? Ведь литература-то в данном плане сродни любому серьёзному занятию – хотя бы торговле. Не вложив ни гроша в чужое дело, вы не можете и предъявить счёт. Не делая в окружающий вас мир НИКАКИХ ДУШЕВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, а только холодно констатируя его недостатки и пороки, вы лишь попусту оскорбляете его. И при этом (чтоб было понятнее русскому читателю) вы ещё лицемернее Печорина, изводящего княжну Мери: он хоть не скрывал от себя, что надел ледяную маску скептика от скуки и презрения к людям, и не считал себя в душевном плане чем-то лучше романтического Грушницкого.

К сожалению, в начале XX столетия читатель у поэзии был уже во многом другой: всё менее элитарный и всё более массовый, но (здесь мы, увы, подошли к самой сути дела) хотевший считаться элитарным. Самолюбия у него оказалось ничуть не меньше – если не больше! – чем у аристократа байроновских времён, знатока языков и «мёртвой классики». Какая же поэзия устроит подобного потребителя в «век самодовольных недорослей»? (Именно так отозвался о XX столетии испанский философ и социолог Ортега-и-Гассет. –

Цит. по: А.М.Форшток. Номо legens в XX веке (К проблеме массового читателя). – Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2010, № 2 (1), с. 275). Ответ нетрудно предугадать, и не зная, «что было дальше». И, если перейти от всяческих «объективных коррелятов» к не менее объективной практике у того же Элиота, - поэзия сегодня нужна такая, которая не требует от автора и читателя НИКАКИХ ДУШЕВНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, и тем не менее рождает у них обоих впечатление избранности. В плане содержания она должна быть как можно более ироничной и скептической (всё живое виновато уж тем, что попало поэту на глаза. Примерно, как первородный грех), а в плане формы – побольше формализма. Усложнённость и зашифрованность образов, хаотичная, «вьюгообразная» смесь их, постоянная напряжённость читателя насчёт того, «о чём это он?», которую, разумеется, следует скрыть от окружающих «в беседе о...»; намёки на глубину мыслей и чувств вместо них самих, и – закономерный и очень важный признак – большая цитатная «нахватанность». (В литературоведении она торжественно называется: «интертекстуальность»). Откройте Элиота – и у вас зарядит в глазах... Цитаты из Библии, Шекспира, Бодлера, Данте, Жерара де Нерваля, и снова Библии, и опять Шекспира, и весь это калейдоскоп должен маскировать вялую холодность основного текста и создать к нему разбухающие с каждой страницей комментарии, постепенно превышающие размерами самый текст.

Увы, одного лишь автора и читателя оказалось бы недостаточно, чтобы вся эта тарабарщина могла претендовать на опустевший поэтический трон. Но в XX веке англо-американская профессура представляла собой достаточно мощную «жреческую касту». А жрецу нужен Храм и нужен Бог. Или Король для пустующего трона, раз уж я выше пользовался светской терминологией. И не забудем социальную подоплёку начинания: критики не могли не понимать, что тем самым они угождают власть имущим. Вспомним, сколько беспокойства властям причинил один только Байрон! А ежели опять привести пример, близкий россиянам, то это будет строчка Окуджавы о декабристах: «все они красавцы, все они таланты, все они поэты». И все – Личности... Только не такие, как Т.С. Элиот, чья поэзия при вручении Нобелевской была объявлена «приоритетным новаторством». Это и был модернизм, породивший позднее постмодернизм. И хотя делаются попытки приравнять Первую Деморализацию к Второй, (термины мои – Л.С.) и доказать, что романтизм – родной отец модернизма, в действительности они друг другу – Эдгар и Эдмунд из «Короля Лира».

Поклонники Элиота, казалось, не понимали, что восхищаются именно тем самым, что он, казалось, высмеивал – достаточно лишь заменить

В гостиной разговаривают тети
О Микеланджело Буонарроти

*(«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока», 1917.
Пер. В.Топорова)*

на:

В гостиной разговаривают тети
О Томасе и Стернзе Элиоте.

Но так как в моих речах гостиными и не пахнет, а пахнет дерзостным поношением нобелевского лауреата, приведём последний пример искреннего почитания его поэзии и оставим тему. Для чего выберем другого нобелевского лауреата, Иосифа Бродского, официально славившего модернистов всегда и

всюду. Его элегия «На смерть Т.С. Элиота» (1965) обязательно будет упомянута в любой русскоязычной статье об усопшем гении, и не оставляет сомнений, что Бродский считал Элиота именно таковым, и обожествлял не менее, чем мальчик Том Холт:

Аполлон, сними венок,
положи его у ног
Элиота как предел
для бессмертья в мире тел.

Как видим, и Нобелевка – ещё не «предел бессмертья»... Неудивителен вывод критика: «авторитет И. Бродского придал фигуре Элиота в России особый, почти что «священный» статус». (В.М. Толмачёв. Т.С. Элиот. - Вестник ПСТГУ III: Филология 2011. - Вып. 1 (23). - С. 11). Но вот что пишет Анатолий Найман, секретарь А. Ахматовой и давний друг Бродского, вспоминая беседу с ним в феврале 1990 г. в Маунт-Холиок – в том числе и о «столпах» модернизма:

«Всплыл и Элиот, которым и он и я были увлечены, а потом я понемногу, поняв рецепт, разочаровался. А он? «Тут особенно нечего обсуждать, - сказал он. – Поэт для университетов. И признавал это, и хотел таким быть». Мы разговаривали как будто на могиле былого: пришли навестить и отдаём дань, не настолько, однако, скорбную, чтобы не говорить свободно. Я сказал, что вот уж кто университетский поэт, так это Паунд: при каждом стихотворении список прочитанной литературы. «Да оба они хороши», - поддал он. Я почувствовал, что хватчено лишку, и решил поправить дело: «Конечно, на фоне Джойса и тот и другой легоньки...» - «И Джойс такой же!» - прикончил он, как будто запер калитку ограды и, не оглядываясь, зашагал с кладбищенского холма на дорогу». (А. Г. Найман. Славный конец бесславных поколений. – М.: Вагриус, 1999. – С. 248).

Читатель, быть может, решил, что я позабыл о ребёнке Томе Холте, увлечшись нобелевскими знаменитостями? О нет. Мы сейчас даже ближе к нему, чем когда-либо – заверяю вас в том ещё раз! Так что давайте побудем с вышецитированным воспоминанием ещё немного, и, быть может, усмотрим даже связь... Пусть недоказуемую, да – но что вообще в художественной литературе доказуемо? Воспоминания Анатолия Генриховича Наймана (которого автор данных строк знал лично) ни один официальный критик, к примеру, серьёзным доказательством итогового отношения Бродского к Элиоту, Паунду или Джойсу не счёл бы. (Разве что ему самому было бы для чего-то нужно доказать, что Бродский вовсе не был в таком уж восторге от модернизма). Он бы сказал мне: «Не слишком содержательная цитата. Поначалу-то они были увлечены Элиотом, верно? И вообще, это же частная беседа. Полушутливый тон вспоминавшего... Его вы заметили? А хоть бы его и не было - мало ли кто там чего в сердцах сказал! Нет, вы мне приведите такой же отзыв Бродского с высокой трибуны, а уж потом...».

Но я не стану с ним спорить, с этим критиком. Он непобедим. Однако и ему не совладать с моим твёрдым и старым правилом: во всех сомнительных случаях внимательно смотри в текст, верь тексту, полагайся на текст, развивай интуицию по тексту, сравни его по возможности с другими, и он нередко расскажет тебе гораздо больше, чем собирался. У всех – «интертекстуальность», а ты зато – «ИНтекстуал»! Вот, например, полушутливый тон Анатолия Наймана – и правда, к чему он тут? По моим личным впечатлениям, Анатолий Генрихович никогда не стал бы говорить о ком-то вышестоящем, не помня, кто он. (Это общая черта лиц, причастных к

литературному миру). «Я почувствовал, что хвачено лишку, и решил поправить дело...». Лишку? Но почему? Ведь сам мемуарист начал с того, что разочарован в Элиоте. И он же, а не Бродский, заявил: «вот уж кто университетский поэт, так это Паунд», и привёл вполне доказательный довод в пользу своего мнения. Можно ли было в ответ ждать от Бродского каких-то внезапных возражений? Реплика последнего «Да оба они хороши» становится абсолютно закономерной, как ни смягчает её Найман словом «поддал». А смягчить всё-таки возникшее «лишку» нужно потому, что нарушен неписанный закон литературного мира – не менее беспощадного, чем мир биржевого бизнеса: говоришь о «столпах» – соблюдай субординацию! Но и поделиться столь смелым воспоминанием тоже хочется. (Ещё б не хотелось!). Значит, шутливый тон после этого нужно вновь усилить, хотя, заметьте, Найман, вместо того, чтоб и впрямь «поправить дело», как он вроде бы собирался, лишь усиливает негативизм высказываний: ««Конечно, на фоне Джойса и тот и другой легоньки...» - «И Джойс такой же!» - прикончил он, как будто запер калитку ограды и, не оглядываясь, зашагал с кладбищенского холма на дорогу». Самый трагикомический образ кладбища – под конец, слово «прикончил» ещё шутливее, чем «поддал», и строго на своём месте... и не понять, шутка перед нами, или «серьёз». Но судя по тому, как всё точно выверено, я просто уверен: так оно именно и было. И Бродский говорил то, что думал, не сгоряча.

Почему ещё я в этом уверен? Да всего-навсего потому, что считаю Бродского самым великим поэтом, когда-либо писавшим по-русски, даже в сравнении с Пушкиным. Он слишком хорошо знал своё дело, чтоб долго питать иллюзии по поводу Элиота, или Эзры Паунда, или Джойса. А его элегия как раз помпезностью образов, достойной дворцовых «действ» восемнадцатого века или какой-нибудь державинской оды государыне, сразу же вызвала у меня стойкие сомнения. Признаем их недоказанными и даже недоказуемыми, но отнюдь не забудем их. И вернёмся наконец к Тому Холту.

Ведь мы же искали связь...

А связь тут, по-моему, вот такая. Зеркальная, так сказать... Том Холт тоже умел писать стихи. И нет в них ни тарабарщины (пардон, «интертекстуальности»), ни списка примечаний, ни зашифрованности, вообще ничего от формализма, а есть прозрачность мысли, прекрасный вкус и строгое единство формы и содержания. Так можно ли после этого верить его безудержным восторгам типа: «Если бы я мог написать хоть одно стихотворение, как Элиот, то умер бы счастливым»? Не больше, чем элегии Бродского. Ведь это сказал ребёнок, пускай чудо-ребёнок! Он обязательно захотел бы подражать своему кумиру в формализме, если тот и впрямь был его кумиром. Однако именно в форме мы такого подражания не видим.

А в содержании?

Да, содержание его вещей типично для модернизма. И потому крайне нетипично для «двенадцатилетней Музы», как выразилась в интервью Венди Грэм. Но и здесь не следует торопиться, помня, сколь уникален предмет нашего исследования. Попробуем понять своеобразие Тома Холта в рамках «мэйнстрима».

Тема смерти, к примеру, является в модернизме ключевой. (См.: С.А. Кутумова. ««Смерть» как оценочный признак лирики модернизма (на материале произведений Т.С.Элиота, Э.Э.Каммингса и Р.Фроста). - Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - Вып. № 3 / 2013). Конечный финал всего живого закономерен, естествен и не трагичен, это как дверь в нежилое крыло дома... или же в тайну. Впрочем, Холт, даже рисуя Страшный суд (то есть,

наихудший из вариантов), использует данный образ для насмешки над жалкой и суетной толпой душ, ждущих приговора. Он изображает их поведение столь достоверно, что для его возраста это куда поразительней и страшней самой картины:

Врата неба открыты напоказ.
Здесь Лимб,
Здесь мы ждём суда вереницей.
Сейчас надеемся,
Сейчас молимся,
Сейчас помним, как сомневались в слухах.
Сейчас обсуждаем шансы друг друга,
И при этом боеем друг за друга,
Так как боимся
Потерять наши собственные шансы,
Будучи гордым,
Хотя нам плевать, коль другие рухнут
Из-за того же...
Мой черёд скоро.
Небо здесь голубое,
Не чёрное,
Свежо,
Но не сыро.
Человек предо мной заходит...
Думай о чём-нибудь другом,
Вот, вот, вот, вот уже мне...

За угощением – плата.

(«Душа на Страшном суде», 1972)

Тема войны и «потерянного поколения» была также основной для модернистов. Правда, в одном из взрослых интервью Холт заявляет, что всю жизнь изучал войну, поскольку она - конфликт, а конфликт – сердце любой литературы, даже у Джейн Остин. Но именно эта тема ярче всего показывает его следование господствующим в поэзии образцам без опоры на свой жизненный опыт, и в то же время – его полностью созревшую технику стиха:

Dulce Domum

Старый человек сидит в тени,
Вспоминая о просторах полей
Вкруг тихой деревни,
Где фермеры пасут своё стадо,
Молча наслаждаясь весенним воздухом.
Подновлённые изгороди
Кричат дразнящими голосами птиц,
Птиц, что проповедуют нагло
Весёлое неприятие знания и перемен.
Но дальше была война,
И вот он ушёл в поход.
О, всё смотрелось как прежде –
Стадо, изгороди и птицы.

Как ярмарка или церковный праздник, шла вербовка
(Так далеко от войны был этот мираж).
Люди маршировали, словно на жатву.
Лодки, баржи и море
Голубым покрывалом на постели,
Которое измял Посейдон.
Потом война, орудия, тени,
И он надумал:
 Те, с кем он дрался, но никогда не видел,
Пришли из своей деревни и из-за моря.
Дома поля пошли сорняками,
Хлеба гнили, и ворота рассохлись.
Там была весна, пели птицы,
Задушенные сорняком изгороди ещё улыбались.
С глазами, как дикий мак,** и белым ртом-маргариткой,
Многие гибли, но многие жили дальше,
Изменяясь, но не чувствуя это.
Двадцать иль тридцать лет миновали прежде,
Чем он заметил, что опять на войне.
Он был уже слишком стар,
 Чтоб видеть гибель друзей во
Франции,
И он вступил в нацгвардию, как другие.
Снова была весна, но пели новые птицы,
Бомбардировщики, истребители с толстыми, чёрными
хвостами.
Как смешно они выглядели –
Кто в хаки, кто в поношенном платье.
Мотыги и топоры, дробовики и вилы,
Чтобы прогнать врага – быть может, надеждой?
Те старики, простота святая,
Думали, что спасут отчизну –
Пока же пивной паёк и вспашка лугов.
Война кончилась.
 Время переменялось.
Вместо грибов – фабрики в Ивовом Поле,
И фермер Майлс покупает технику и ездит на слёты.
Он никогда не покидал дома, спасённый в краю французов,
Но сейчас он жил в старой муниципалке.
Да, так было лучше –
 Жить в чёрно-белых воспоминаньях детства,
В наивных иллюзиях, как оно было лучше,
Чем рисковать пережить их снова,
 Чтобы разрушить.

1973

Однако форма подобного верлибра, изобилующего точными бытовыми деталями сельской Англии, которые даже мнущему гладь морей Посейдону придают известную простоту, по сути абсолютно реалистична. И та же простота реализма царит в «чисто» мифологических стихах – без хаоса, манерности, «интертекста». Если я, вопреки Э. Люси-Смиту, не усматриваю отзвуков Элиота в творчестве Холта, то вполне согласен с автором предисловия в

другом: влияние на холтовские стихи Теда Хьюза (1930-1998), действительно выдающегося поэта, очевидно. Сопоставим «Теологию» Хьюза с «Сооружением» Холта без комментариев:

THEOLOGY

"No, the serpent did not
Seduce Eve to the apple.
All that's simply
Corruption of the facts.

Adam ate the apple.
Eve ate Adam.
The serpent ate Eve.
This is the dark intestine.

The serpent, meanwhile,
Sleeps his meal off in Paradise -
Smiling to hear
God's querulous calling."

ТЕОЛОГИЯ

"Нет, змей не
искушал Еву яблоком.
Все это не более чем
искаженные факты.

Адам съел яблоко.
Ева съела Адама.
Змей съел Еву.
Темнота кишок.

И змей, пообедав,
дремал себе в Раю
улыбаясь ворчливым
воззваниям Бога".

1961

(Пер. А. Пантелеята

<http://verlibr.blogspot.de/2014/09/blog-post.html>)

EDIFICE

Watching and waiting
The old witch looks down,
Death, Life and God
Have tried to convert her
To their causes,
But she is always immovable.
Death said that
He was the lord of all,
For all come to his great kingdom.

But the witch was wise
She defied the god
And turned herself
To immortal stone.
Life tried by saying
He was the wisest of all, for he
Processed all.
But the witch said,
“Death takes and destroys
All Life’s work,
And I have proved
Death cannot compare
With my power”.
God was most concerned
With her work.
But she had no heart
And could not be touched.

СООРУЖЕНИЕ

Глядя и выжидая,
Старая ведьма презирает.
Смерть, Жизнь и Бог
Пытались её сподвигнуть
К своим целям,
Но она непоколебима.
Смерть заявила, что
Она – госпожа всего,
Ибо все придут в её царство.
Но ведьма была мудра,
Она бросила вызов богу
И превратилась
В бессмертный камень.
Жизнь пыталась сказать,
Что она мудрее других,
Зане управляет всем,
Но ведьма сказала:
«Смерть придёт и разрушит
Работу Жизни,
И я доказала:
Смерть не может сравниться
С моею властью».
Бог был больше всех озабочен
Её работой.
Но у ведьмы не было сердца,
И её нельзя было тронуть.

1971

Итак, Холт берёт у модернистов темы, но не эстетику формализма. И эти темы позволяют лирическому герою носить маску полного неприятия окружающей действительности, небес и ада, не разоблачая истинного лица

самого автора. Быть может, ради последней цели он и избрал себе такую тематику, а вовсе не из желания «быть как все» и подчиниться литературной моде? Иначе не стоило ли сделать модернистской и свою форму? Как выразился Э. Люси-Смит о «лишённом идеализма» и обладающем «оттенком цинизма» юном поэте: «Фактически детство как таковое, как предмет, ПОРАЖАЮЩЕ отсутствует» (Регистр мой. – Л.С.). Добавлю к этому приговору, не пытаясь его смягчить: порой детские интонации всё же прорываются («Стих и птичка», 1971; «Желанная собственность», 1972). Но сетовать, что у Тома были «не те учителя», а если б попались «те», то мы увидели бы его «в подлинном свете», нет оснований.

Напротив. Именно тогда он, может быть, совсем не стал бы писать стихи. Откровенничать – не в его характере. Я смотрю на фотографию - серое пятно на глянцево-жёлтой обложке его сборника – и гадаю, Том ли заставил оформителя выбрать именно это своё фото (см. ниже, стр. 21), или сам оформитель до такой степени ничего не понимал. Чтобы ребёнок, снявшийся для обложки первой книги, не смотрел в глаза читателю... М-да.

Так что же произошло в действительности?

Почему Том Холт, полностью заслужив свой ранний успех, оставил поэзию и даже, если верить его дальнейшим утверждениям, пытался уничтожить следы столь уникального старта? (Не знаю, правда, кто и, главное, где будет хранить четверть века спустя три тысячи экземпляров книги вместо того, чтоб списать её, но, кажется, и сам Холт не знает). Я вижу три основных варианта возможного развития событий:

1. Несомненно, что Том, вместо того, чтобы «с упоением лоботрясничать», произвёл в детстве огромную внутреннюю работу над собой, являясь не «вундеркиндом поневоле», а вполне настоящим вундеркиндом. Его тексты не оставляют для нас иного вывода. И всё же он вступил на путь рекламы своего сборника под нажимом матери и агента, жестоко недооценивая себя и растерявшись от общего признания. Когда же он вырос, то окончательно пожалел о своей уступчивости и решил уничтожить всё.
2. Том Холт вполне добровольно и даже по своей инициативе начал рекламу книги. Он прекрасно знал себе цену и понимал, например, что не Элиоту впору его учить, а ему - Элиота. Достаточно взглянуть на его «Статистический»: какие сравнения! «Бриллиант» - хоть и среди блеска! «Факел» - хотя и днём! И если его, герольда, затмил король, то явно несправедливо:

Я герольд перед королём -
В тени его шелков
Так забыт!

Любопытно, не символизировал ли король кого-то, реально существующего? В любом случае, это, видимо, единственный стих, где Том позволил себе раскрыться по-настоящему - хотя бы отчасти, подчёркивая одновременно весь трагизм (и какой трагизм!) пожизненной собственной «закрытости». Так что какой уж там «ужас» от общего признания... Но с годами Холт не нашёл в себе стимула для дальнейшего поэтического творчества, оставшись «мастером подражаний». И поскольку ему претила такая слава – пускай былая, – он ополчился на свою репутацию поэта.

3. Том Холт вполне добровольно и даже по своей инициативе начал рекламу книги. Он прекрасно знал себе цену и понимал, например, что не Элиоту впору его учить, а ему - Элиота. И обладал достаточным потенциалом, чтобы стать оригинальным взрослым поэтом, чего от него и ждали.

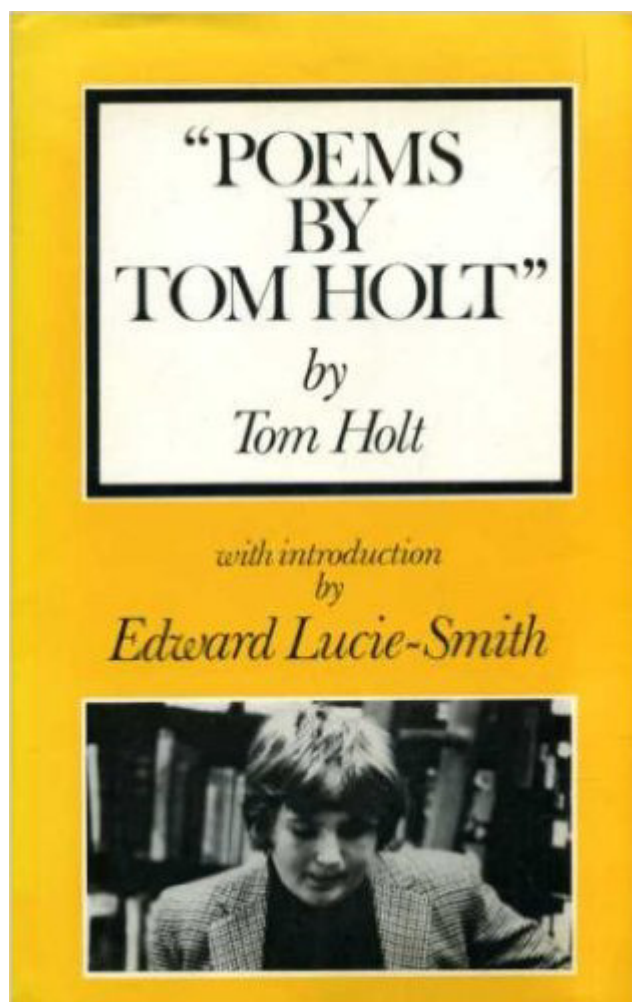
Однако он был прежде всего практичен. Встать на подобный путь означало раскрыться перед «почтеннейшей публикой», и вдобавок не иметь надёжного литературного будущего в мире, где на поэзию всё меньше и меньше спроса. Юмористические «фэнтэзи» позволяли избежать этих зол. Но читатель подобных сочинений не выносит, если автор умней его. И даже бегло перелистав сборник Тома Холта, никогда уже не поверит, что Том – «свой в доску» и пишет книги, чтобы повеселиться вместе с нами. Значит, ребёнок-поэт Том Холт – «герольд перед королём» – должен исчезнуть.

Думаю, читатель уж догадался, к какому из трёх вариантов я склоняюсь. Разумеется, последняя из догадок не приносит мне удовлетворения. Я бы предпочёл цифру «2», однако не слишком верю ей. Если конфликт - сердце любой литературы, как справедливо заметил взрослый Том, то внутренняя трагедия - сердце любой истинной поэзии: «Моя жизнь – зашторенное окно...», «Мёртвый при жизни...». Он мог стать большим поэтом именно из-за такой жизни. При темпах его развития - настолько взрывоподобных, что они не снились никакому Рембо – невозможно себе представить их последствия для автора и читателей. Но герой данных заметок выбрал то, что выбрал.

И всё же она была – свеча Тома Холта! Возможно, самая яркая во всемирной поэзии детей. А если мне скажут: «Глупец восхищается огнём, который добровольно решил погаснуть» - не стану спорить. Нельзя требовать от этого мира слишком многого. Во всяком случае, я закончу вступительное слово о Томе Холте цитатой из самого циничного философа, которого когда-либо знало человечество, и который, увы, довольно часто оказывался на высоте:

«Пламя не так светло самому себе, как другим, кому оно светит.

Фридрих Ницше».



Стихотворения Тома Холта

Предисловие Эдварда Люси-Смита

M & J Hobbs
in association with
Michael Joseph
1973

АННОТАЦИЯ К СБОРНИКУ :

Одиннадцатилетний Том Холт живёт в Илинге (западный район Лондона-Л.С.), где посещает дневную школу. Он - уникальный ребёнок, проявивший необычайный профессиональный талант в раннем возрасте. Его сочинения столь же интересны, сколь и его поэзия, и представляют собой умные наблюдения о мире, каким он его видит. Его отец – директор фирмы, он выходец из среднего класса и, конечно, всегда получал поддержку от

родителей: но, быть может, наибольшее влияние на него оказывала его 82-летняя бабушка, живущая в деревне.

Она рассказывала ему бесчисленные истории, когда он был мал, и результат – его любовь к слову, сельским пейзажам и понимание душевного мира старых людей.

Его интерес к литературе очень силен, а читательский кругозор широк, охватывая всего Шекспира, Йейтса, Джерарда Мэнли Хопкинса, и в особенности его кумира Т. С. Элиота, о ком он сказал: «Если б я мог написать хоть один стих так хорошо, как Элиот, я бы умер счастливым». У него страсть к грекам, и его любимые авторы – Аристофан, Гомер, Шекспир, Ноэл Кауард и П. Г. Вудхаус – в таком порядке.

Он посмотрел свою первую шекспировскую пьесу и прочитал первое стихотворение Т. С. Элиота в возрасте восьми лет.

Его мечта – в совершенстве перевести Аристофана, хотя в то же время, со свойственным ему оттенком цинизма, он чувствует, что в этом мире необходимо иметь финансовое обеспечение, и что быть профессиональным писателем – рискованное занятие.

Это лишённый идеализма, задумчивый юный поэт, но с интеллигентским умом, готовящий себя к встрече с миром и раннему, замечательному старту.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Детская поэзия – тема более щекотливая, чем это может показаться на первый взгляд. Должны ли мы, например, пытаться читать её, как читали бы любую другую, или же следует ценить её главным образом за интуицию, свойственную детству? В нашем столетии, и прежде всего в течение двух последних десятилетий, подчёркивается особое значение ребячливости; точно так же налицо параллельная тенденция превозносить ценности безумия. Дети и безумцы, говорим мы, имеют более лёгкий доступ к неким истинам. Такой взгляд довольно близок к другому, традиционно воплощённому в сказке о новом платье короля, где лишь малыш настолько естествен, чтоб публично разоблачить обман, принятый всеми остальными. По данному мнению, дети, с их словопользованием (а также с их использованием живописных образов), могут прорываться к эмоциям и идеям, которые шокируют нас своей чистотой и свежестью и заставляют благодаря этому шоку взглянуть на наше притворство новыми глазами. Много очаровательных подборок детской поэзии опубликовано в последние годы; самая знаменитая и самая спорная из них, быть может, антология Кристофера Сирла „Слово Степни“ (Christopher Searle, „Stepney Words“).

Настоящая книга не относится к сочинениям такого рода по двум причинам. Первая и очевиднейшая из них: её стихи не являются творчеством детей, но лишь одного ребёнка – Тома Холта, который их написал в возрасте с семи по одиннадцать. (Судя по датировке стихов, охватывающей годы с 1971 по 1973-й, – только „Musketry“ датировано 70-ым – Тому в 1971 году было не семь, а десять. Нед Томас в упомянутой выше публикации журнала «Англия» указывает «от 9 до 11 лет», и приводит мнение Тома: «хорошие стихи начал сочинять только с девяти лет» (стр. 55) – Л.С.). Вторая же в том, что это труд профессионального писателя, а не дилетантов. Но постойте: можно ли в самом деле сказать «профессионализм» о ребёнке в теперешнем возрасте Тома Холта – в любой его деятельности, тем более, поэтической? Покуда я не дочитал эту рукопись, я сомневался. Я признавал, конечно, что есть талантливые дети-актёры; и, более того, дети-музыканты. Однако предпосылки

для их труда являются внешними и обеспечиваются взрослым миром. Музыкальный чудо-ребёнок, как юный Моцарт, - феномен, который мы принимаем, ибо подобное повторяется с понятной периодичностью. И если ныне мы видим таких феноменов на концертной сцене гораздо реже, то потому, что родители этих детей предпочитают (причём, с точки зрения многих, мудро) развивать их дар в менее напряжённой обстановке.

Тем не менее поэзия Тома Холта поражает меня неподдельным профессионализмом, так как он, кажется, использует принципы, открываемые нами у взрослых. В ней не наивные стихи, вдруг озарённые удивительной строчкой или фразой. Том Холт прекрасно владеет основополагающими механизмами языка - гораздо лучше многих взрослых, называющих себя писателями. И хотя верно, что современная поэтическая техника в иных аспектах требует меньшего, чем традиционная, с её заданностью рифмы и постоянного размера, первая между тем в большой степени подвластна авторскому контролю. Автор способен стремиться к особому эффекту и производить его. И, что ещё важнее, это стихи, в которых мы находим удивительное стилистическое единство. Прочитав один, мы склонны осознавать разные аспекты той же поэтической индивидуальности во всех остальных.

Проведём одно или два сравнения, чтобы определить особенности такой поэзии. Вот, например, стихотворение необыкновенно трогательного ребёнка Марджори Флеминг, умершей в 1811 году, всего за месяц до своего девятого дня рождения:

Three turkeys fair their last have breathed
And now this world forever leaved
Their Father & their Mother too
Will sigh and weep as well as you
Mourning for their osprings fair
Whom they did nurse with tender care
Indeed the rats their bones have crunched
To eternity are they launched
There graceful form and pretty eyes
Their fellow fows did not despise
A direful death indeed they had
That would put any parent mad
But she was more than usual calm
She did not give a single dam
She is as gentel as a lamb
Here ends this melancholy lay
Farewell Poor Turkeys I must say*

(*Стихотворение, которое цитирует Эдвард Люси-Смит, и переведённое нами ниже, в оригинале озаглавлено «Melancholy lay». Тексты, процитированные таким образом различными комментаторами и переводчиками, не сверяются нами с оригинальными авторскими текстами, поскольку это не входит в задачи данной работы. И хотя порой могут возникать неясности с переводом, как то: osprings (?) – offsprings, fows (?) – fowls, мы всё же не считаем себя вправе отклоняться от цитирующего источника, в данном случае – предисловия Э. Люси-Смита.

ПЕСНЬ МЕЛАНХОЛИИ

О, индюков последний вздох!

Уж нет на свете этих трёх.
Заплачут их Отец и Мать.
Так мог бы каждый горевать
О тех, кого в былые дни
Вдвоём лелеяли они.
Ведь крысы сгрызли кости их.
Их больше нет среди живых.
И не встречалось индюка,
Что презирал их взор, бока.
Ужасной гибели приход
С ума индейку-мать сведёт.
Но как была она тиха!
Ни слёз, ни жалоб – лишь тоска
Ягнёнка кроткого горька.
Плач меланхолии, уймись!
Навек с Бедняжками простись. – Л.С.).

Прочитайте одно из стихотворений Тома Холта, и вы окунётесь в совершенно другой и гораздо более усложнённый мир мыслей и чувств:

Before, now, after,
Now and then,
In the night of the sea
And the power of the land
Is no failing ...

Прежде, сейчас, потом,
Иногда,
У моря в ночи
И во власти земли
Нет нам забвенья...

Я умышленно выбрал довольно ранний пример. Разница в возрасте двух поэтов в данном случае – всего около двух лет.

Более показательное сравнение дают нам наиболее ранние стихотворения Уильяма Блейка, впервые опубликованные в 1783 году, но сочинённые по-видимому в 1769 году и позже – то есть, когда автору стукнуло двенадцать. К несчастью, довольно трудно определить, какие стихи в собрании «Поэтические наброски» - ранние, но вот вам образчик, отнюдь не лучший, однако и не из самых худших:

TO MORNING

O holy virgin! clad in purest white,
Unlock heav'n's golden gates and issue forth;
Awake the dawn that sleeps in heaven; let light
Rise from the chambers of the east, and bring
The honied dew that cometh on waking day.
O radiant morning, salute the sun,
Rous'd like a huntsman to the chace, and, with
Thy buskin'd feet, appear upon our hills.

Святая дева в ризах белоснежных,
О распахни златистые врата,
И разбуди зарю, пускай зардеют
Восточные чертоги и росой
Омоется новорождённый день.
О радужное утро, вместе с солнцем,
Встающим, как на раннюю охоту,
Ты над холмами нашими взойди.

Пер. с англ. Д. Н. Смирнова:

http://lit.lib.ru/s/smirnow_d_n/text_0160.shtml -Л.С.)

Теперь сопоставим это с современной поэзией, то есть, 1769 года или начала 1770-х; и сравним стихи Тома Холта с поэзией 1970-х – какие из них более замечательны? Ответ не вызывает сомнений.

Я понимаю, что, предлагая читателю сравнить произведения Тома Холта со стихами такого великого гения, как Блейк, я вступаю на опасную почву. Нет поклонника – а я, разумеется, поклонник, - который хотел бы видеть юного автора с болтающимся на шее ярлыком «гений». Ещё слишком рано рассуждать о гениальности Тома Холта. Действительно, ведь рано гадать, продолжит он свои поэтические опыты, или же займётся чем-то совсем другим. Мало кто из маленьких мальчиков, хотевших быть машинистами, кончает вождением паровозов. Суть в том, что эти в целом хорошие стихи привлекательны сами по себе; и что обстоятельства, в которых они написаны, очаровательны и необыкновенны.

Не последняя экстраординарность состоит в том, что они опережают психологию и психологический уровень юности. Большинство учителей скажет вам: очень маленькие дети пишут стихи – скверные стихи – без натуги и без труда. Затем наступает время, когда они начинают стесняться своих занятий поэзией. Часто такой период начинается около десяти или одиннадцати лет и продолжается в ближайшие годы. Те, кто станут взрослыми поэтами, часто начинают писать опять около четырнадцати. Я знаю по себе, что именно в это время впервые начал писать сколько-нибудь серьёзные стихи, и, помнится, большинство моих сверстников рассказывало мне то же самое.

Почти классическим примером взаимосвязи между поэзией и половой зрелостью является Артур Рембо. Поэтическая индивидуальность взрывоподобно пробуждается к жизни вследствие физических изменений. При таких условиях можно было бы предположить, что стихи Рембо, написанные в четырнадцать и позже, и стихи Тома Холта должны очень отличаться. Но когда я впервые читал рукопись Тома, то был поражён пассажем, показавшимся мне знакомым:

As the battle rages, by the wood
Where the bullets fly, there is a flower
In full blossom, white in colour,
Its delicate leaves face the sky,
And beside it lies the corpse of a soldier,
Whose head is beaten in with the butt of a gun,
A bayonet wound staining his grey uniform.

Там, где бой грохочет, у леска,
Где летают пули, распустился
Белый незапятнанный цветок,
Нежным лепестком навстречу небу,
Осенив собою труп солдата -
Рана от приклада на виске,
Рана от штыка на серой форме.

Сначала я подумал о Роберте Фросте:

The battle rent a cobweb diamond-strung
And cut a flower beside a ground bird's nest
Before it stained a single human breast.
(«Range-finding» - Л.С.)

(В ПЕРЕКРЕСТЬЕ ПРИЦЕЛА

В разгаре боя, метя в чью-то грудь,
Шальная пуля низом просвистела
Вблизи гнезда - и сбить цветок успела,
И с паутины жемчуг отряхнуть.

Пер. Г. Кружкова :

<http://www.stihi.ru/2011/02/01/90> – Л.С.)

Позже мне показалось очевидным сходство с «Le Dormeur du Val» Рембо:

C'est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

(СПЯЩИЙ В ЛОЖБИНЕ

Вот – дыра, дол зеленый, с поющей рекой,
Льнущей – страстно, безумно – к лохмотьям травы
В серебре; всё – в лучах, здесь – тепло и покой,
Солнце льется с горы, клевер – вокруг головы

Непокрытой, солдатской: здесь юноша спит:
Рот открыт, в волосах – и трава, и роса,
Спит. Постель зелена, свет дрожащий разлит, –
Ноги вытянув, бледным лицом – в небеса, - (...)

Пер. с франц. Ю.Юрченко:

<http://arifis.ru/work.php?action=view&id=22492> – Л.С.)

Ещё позже я выяснил, что Том не читал Рембо.

Но такое сходство, думаю, нечто большее, чем простое совпадение. Что было общим у обоих юных поэтов – это чувство трагедии, человеческого ничтожества:

My life is a curtained window,
A refraction of light in the mirror.
I am a flash in a snow-covered field,
Brilliant in brightness,
Not a torch in the mist
But in clear daylight.

Моя жизнь – зашторенное окно,
Отражение света в зеркале,
Я – выскерк в заснеженном поле,
Бриллиант среди блеска,
Факел – но не во мгле,
А средь ясного дня.

Дежурные «невинность» и «счастье» детства столь же далеки от стихов Тома Холта, сколь от стихов Рембо, без отчаянных попыток последнего объяснить утраты.

Конечно, различия так же важны, как сходство. Стремление Рембо не только бороться с Богом, но стать Богом, здесь отсутствует. Иначе это был бы очень тревожный знак! Ничего, что хотя бы в малейшей степени походило на смесь горечи и тоски у Рембо в *Les Poètes de sept ans*.*

(* Для ясности того, о чём пишет здесь Э. Люси-Смит, приведём ниже текст стихотворения Рембо – в оригинале и в переводе:

LES POETES DE SEPT ANS

Et la Mere, fermant le livre du devoir,
S'en allait satisfaite et tres fiere, sans voir,
Dans les yeux bleus et sous le front plein d'eminences,
L'ame de son enfant livree aux repugnances.

Tout le jour il suait d'obeissance; tres
Intelligent; pourtant des tics noirs, quelques traits
Semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies.
Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies,
En passant il tirait la langue, les deux poings
A l'aine, et dans ses yeux fermes voyait des points.
Une porte s'ouvrait sur le soir: a la lampe
On le voyait, la-haut, qui ralait sur la rampe,
Sous un golfe de jour pendant du toit. L'ete
Surtout, vaincu, stupide, il etait entete
A se renfermer dans la fraicheur des latrines:
Il pensait la, tranquille et livrant ses narines.
Quand, lave des odeurs du jour, le jardinet
Derriere la maison, en hiver, s'illuminait,
Gisant au pied d'un mur, enterre dans la marne
Et pour des visions ecrasant son oeil darne,
Il ecoutait grouiller les galeux espaliers.

Pitie! Ces enfants seuls etaient ses familiers
Qui, chetifs, fronts nus, oeil deteignant sur la joue,
Cachant de maigres doigts jaunes et noirs de boue
Sous des habits puant la foire et tout vieillots,
Conversaient avec la douceur des idiots!
Et si, l'ayant surpris a des pities immondes,
Sa mere s'effrayait; les tendresses, profondes,
De l'enfant se jetaient sur cet etonnement.
C'etait bon. Elle avait le bleu regard - qui ment!

A sept ans, il faisait des romans, sur la vie
Du grand desert, ou luit la Liberte ravie,
Forets, soleils, rives, savanes! - il s'aidait
De journaux illustres ou, rouge, il regardait
Des Espagnoles rire et des Italiennes.
Quand venait, l'oeil brun, folle, en robes d'indiennes,
- Huit ans - la fille des ouvriers d'a cote,
La petite brutale, et qu'elle avait saute,
Dans un coin, sur son dos en secouant ses tresses,
Et qu'il etait sous elle, il lui mordait les fesses,
Car elle ne portait jamais de pantalons;
- Et, par elle meurtri des poings et des talons,
Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre.

Il craignait les blafards dimanches de decembre,
Ou, pommade, sur un gueridon d'acajou,
Il lisait une Bible a la tranche vert-chou;
Des reves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcove.
Il n'aimait pas Dieu; mais les hommes, qu'au soir fauve,
Noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg
Ou les crieurs, en trois roulements de tambour,
Font autour des edits rire et gronder les foules.
- Il revait la prairie amoureuse, ou des houles
Lumineuses, parfums sains, pubescences d'or,
Font leur remuement calme et prennent leur essor!

Et comme il savourait surtout les sombres choses,
Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes,
Haute et bleue, acrement prise d'humidite,
Il lisait son roman sans cesse medite,
Plein de lourds ciels ocreux et de forets noyees,
De fleurs de chair aux bois siderals deployees,
Vertige, ecroulements, deroutes et pitie!
- Tandis que se faisait la rumeur du quartier,
En bas - seul, et couche sur des pieces de toile
Ecrue, et pressentant violemment la voile!

СЕМИЛЕТНИЕ ПОЭТЫ

По книге назубок ответил, как всегда –
И матушка ушла, довольна и горда;
Ей было невдомёк: давно с души у сына
Воротит, и претит вся эта мертвечина.

Послушен и умён – прилежный ученик,
Но морщивший лицо короткий нервный тик
Показывал, что в нём живёт нелёгкий норов;
Меж плесневелых стен, во мраке коридоров
Высовывал язык, кулак сучил порой,
И, веки опустив, мушиный видел рой;
День подходил к концу, ночь тишину дарила –
Он злобно бормотал, усевшись на перила;
Его всегда томил палящий летний зной –
Тупея от жары, подавленный и злой,
В прохладе нужника он вечным постояльцем
Спокойно размышлял, в носу копая пальцем.
Зимою холода смывали летний смрад –
Он молча уходил в полузаросший сад,
Садился под стеной, чьи каменные глыбы
Слой извести скрывал, и с видом снулой рыбы
Он слушал, как столбы подгнившие скрипят...
Знакомство он водил с оравой ребят:
Некормлены, худы, глазасты и патлаты,
Обряжены в тряпье – кругом одни заплаты,
На лицах желтизна, в коросте кулачки,
Учтивостью речей гордились дурачки!
К друзьям он не скрывал сочувственную жалость,
Мать заставляла их – и донельзя пугалась;
Он следовал за ней, покорен и учтив,
А материнский взор невинен был – но лжив!

В семь лет он сочинял наивные романы
Про вольные леса, пустыни и саванны,
В романах излагал, что вычитал и знал;
Краснея, он листал пленительный журнал –
Как были хороши, смешливы, страстны, кротки
В нестрогих платицах заморские красотки.
- А в восемь лет ему подбросила судьба
Подружку, что была бесстыдна и груба;
Возились в уголку; тряслись её косицы;
Он, изловчась, кусал её за ягодичицы –
Девчонка сроду не носила панталон –
И детской кожи вкус на дёснах чуял он,
И, получив пинок, сбегал от потрясений.

Его страшил покой декабрьских воскресений;
Причёсан, приодет – часами напролёт
Он Библию читал; зелёный переплёт
Мерещился во сне; от нелюбови к Богу
Он не переживал; почасту и помногу
На улицу глядел – усталые, в пыли,
Рабочие домой через предместье шли;
Разносчики газет, вертясь волчками в спешке,
Кричали новости – в ответ неслись насмешки.
- А он не мог изгнать из детской головы
Свет золотых небес, дух луговой травы.

Порой он смаковал неясных мыслей ворох,
И в комнате пустой, при запылённых шторах,
От сырости дрожа, при свете каганца
Читал он свой роман и думал без конца
Про огненный закат, про лес в плену прилива,
Про плоть цветущих звёзд, что блещут похотливо;
Кружилась голова, слабел и бормотал!
- За окнами шумел и сплетничал квартал,
А он, совсем один, на ложе грубой ткани
Упорно прозревал свой парус в океане!

Пер. Евг. Туганова (псевд. Андрея Кроткова):
<http://www.stihi.ru/2011/03/23/288> - Л.С.)

Фактически детство как таковое, как предмет, поражающе отсутствует. Вы не можете оглянуться на что-либо, обдумать это и резюмировать, судить это, сожалеть об этом, если вы ещё в самой гуще этого. Недавно я спросил Тома, почему он не попробовал свои силы в жанре краткой автобиографии. О, запротестовал он, но ведь мне нечего сказать. Взрослый ответил бы иначе.

Тем не менее, хотя стихи эти интересны и сами по себе, основная причина читать их состоит в том, что это вести из мира, о котором мы редко получаем столь разностороннюю и полную информацию – мира отрочества. Информация просачивается разными путями – через индивидуальность отнюдь не среднего мальчика, далеко обогнавшего ровесников в интеллектуальном развитии. А также через поэтов, которых читал сам Том. Мы улавливаем отзвуки Элиота, к примеру, а также Теда Хьюза. Но есть основа, которой, кажется, не достигли, и на которую не влияют литературные заимствования. И это не последняя замечательная черта замечательного сборника.

Эдвард Люси-Смит

Стихотворения Тома Холта

THE POEM AND THE BIRD

I know a poem
About the burying of a young
Dead sparrow.
It is a fine, intricate poem
And it has never
Been written down.
It is titled:
My heart,
God have mercy
Upon us all,
Every one.

СТИХ И ПТИЧКА

Я знаю стих
О погребеньи юного
Воробушка.
Прекрасный и сложнейший стих,
И никогда он
Записан не был.
Его заглавье:
«О сердце,
Бог милостив
Ко всем нам
И каждому».

1971

PITY A WORM

Condemn him to the lower depths,
Drop him in the pit of hell,
Stamp on his hands as he tries to climb;
But yet the damned will stand.

He has no hope in life,
A thing beyond all hate,
As he crawls back
To be disturbed once more
Condemn him not.

He does not look for help,
Expects no kindnesses,
He has a kind of world
So leave him that
And pity him.

ЖАЛЕЙ ЧЕРВЯ

Тобой на бездну обречён.
Роняй его в геенну.
Замрёт – а ты на руки наступи,
Но всё ж проклятый жив.

Лишён надежды навек,
Ниже ненависти любой,
Когда он ползёт назад,
Чтоб быть низвергнутым вновь,
Щади его.

Не ищет помощи он,
Не ждёт ничьей доброты
Его незаметный мир.
Оставь его
И пожалей.

1972

HEADACHE

I am trapped by my head only
In this crushing pile-driver of tension.
My brain is rotting in my head,
I cannot think,
I cannot move,
I am a worm with half its body crushed,
Pulses of power rock my agonised nerve-centres,
My temples swim with loose liquid,
I am a house divided: *
My head will split, like a plain
Broken by an earthquake.

If the insensate head were to fall
Like a tree's dead leaves,
Breaking off cleanly,
There would be relief, or so it seems.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Я моей головой пойман
В беспощадный копёр напряженья.
Мозги в голове загнили,
Мне мыслей нет,
Движений нет,
Я весь – полураздавленный червяк,
И импульсы по нервам барабанят,
И плавают виски в поту,
Я – разделённый дом: **
Мой череп треснет, как поле
При мощном землетрясении.

Если погаснет мозг и падёт
Голова, как осенний лист,
Начисто сорван,
Будет мне легче, хоть это риск.

1972

(*,** См. Евангелие от Марка III, 25: «If a house is divided against itself, that house will not be able to stand» - «и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот»).

DESIRABLE PROPERTY

He sold us a charming plot of ground
On which stood this Very Desirable Residence;
But he did not tell us how he drove out
The ancient dwarves,
He didn't say that he had drained the lake
Where lived the pure white swans,
Nor did he tell us how
He chopped down the magic grove.
Had we known how he had defaced the hills,
Denuded the valley and destroyed the trees
Then how could we have borne to live
In that sweet house
With roses round the door.

ЖЕЛАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Он продал нам чудесный клочок земли
С Желанной Резиденцией впридачу;
Но не сказал нам, что с него изгнал
Всех древних гномов,
Что озеро большое осушил –
Дом белых лебедей,
И не сказал, что он
Срубил волшебный лес.
Когда б мы знали, как он срыл холмы,
Долину от деревьев оголил,
То как бы вынесли его –
Тот милый дом,
Где розы у дверей?

1972

LIGHT

I

I cannot see the images
Now the fire is dead,
They were vivid.
Fire's eternal ascension
Controlled by the barriers
Of time, position
And mood,
The death of fire
Reluctant to pass,
These were the facts
Of candle-light.

II

When death is blurring
The life-long candles,
Fire rises to its own position
To be snatched down by reality
In its prime
And expires, the phoenix
Of our existence,
And from the ashes
Rises a new form
To shorten the life
Of the species.
But in death
The candle is extinguished
So I cannot see the reason.

СВЕТ

Я не могу видеть образы,
Свечи погасли,
Живые картины.
Вечные пламени взлёты
В плену барьеров
Времени, места
И настроенья.
Гибель огня
Столь неохотна.
Таковы факты
Свечек.

II

Смерть затуманит
Жизни огарки,
Вспрянет огонь последним дыханьем,
Чтобы реальность его убила

В первопричине -
Кончился феникс
Существованья,
Встало из пепла
Новое тело,
Век сокращая
Нашему роду.
Но в смерти
Свечка погасла,
И я не вижу причины.

1972

SHADOW

Shadow is not a pretence of the man
Only a disciple: sadly he is sometimes
Better than that he follows, he carries
A handsome form but has no heart to be of iron,
No mind to lodge envy and hate
However bright the sun.

ТЕНЬ

Тень – не только желанье
Быть ученицей: она иногда, увы,
Лучше того, за кем следует, ей приятно
Быть миловидной, но не хватает воли,
Не говоря уже – зависти. Тень, однако,
Солнечный свет ненавидит.

1973

REALISATION

Slumped on his goatskin bed
The Zarchar is resting,
Hear after the battle
Is the great general Olac.
But beyond the victory and the wooden gods
Are further thoughts:
He has seen life and death
In a burning circle
But did not realize
That death and life exist.
Life was everlasting,
Still young,
Unlike the dribbling, shrivelled elders
Sitting round the fire remembering.
His eyes are full, theirs are empty,
Their pupils eaten away with seeing.
Their minds are full, there is no space
Left in them for the future.
He envies the sleeping hound at his feet,
The rough black pony stamping outside,
Because they do not know
They are alive.
For the bronze goddess is misted
With its polish not wiped clean,
The sacred ram has a broken stand
Tied together with cord.
Olac has discovered Mortality.

ОСОЗНАНИЕ

Пав на сафьянный покров,
Заркар отдыхает -
Здесь, когда бой утих,
Великий воитель Олак.
Но за победой и деревянными богами
Приходят мысли:
Он видел жизнь и смерть
В горящем кругу,
Но не понимал,
Что жизнь и смерть существуют.
Жизнь была вечной,
Юной совсем,
Не то что слюнявые, иссохшие старцы
Сидящие у огня, вспоминая.
Взгляд его полон, их же – пусты,
Зрачки их съели виденья.
Мозг их заполнен, и в нём давно
Для будущего нет места.
Он завидует спящей гончей у ног,
Косматый пони топочет в ночи,
Так как они не знают,

Что они живы.
Полированный, грязный идол
Бронзовой богини окурен,
Священный баран повержен
И крепко связан верёвкой.
Олак осознал Смерть.

1973

AGAIN

I do not know why I turned;
From a sixth sense, bidding me look again,
Or from a hope my search was ended.
But was there something I should have seen,
Some small happening I would later discover?
Was it the foundation of a new civilisation
Or the destruction of our present life?
Perhaps some deity pulled me round,
Said „Gaze upon your future,
It is there”.
I do not know of what value
My second glance was
But let me rest assured, I am not changed.

ОПЯТЬ

Не знаю, почему взглянул назад.
Шестое чувство? Видимо, оно.
Надежда, что окончен поиск?
Но вправду ли я что-то видел —
Случайность, что когда-нибудь открою?
Заря цивилизации грядущей
Или разрушение нынешнего дня?
Какой-то бог меня коснулся,
Сказав: «Твоя судьба
Перед тобою!»
И пусть не знаю, сколь был зорек
Ответный взгляд мой,
Позвольте вас заверить: я всё тот же.

1972

CONQUERORS

In this age of realism
One's heart is stirred by talk
Of Poetry. Nothing is left
Of the old formal Empire,
Writing by the rule book,
Yet the resistance is working
Against the army of the realists.
They are fighting to restore
Some poetry to the world.

ВОИТЕЛИ

В этот век реализма
Сердце волнует голос
Поэзии. Нет и следа
Империи старых форм,
Созданной сводом правил.
Армия реалистов
Уже встречает отпор
Тех, кто хотят вернуть
Поэзию в этот мир.

1971

SUICIDE

There was an ancient salesman
Who waited by the quay,
„By the long black hair and leathern case
Now wherefore stoppest thou me? ”

What is the map's tale?
It knows the secrets of the world,
In four corners it holds
The passion of the world.
Can the map tell
The need of man to join God
In God's house;
Girl in a church
Lays flowers on the altar
„On Jesus” dressing table,
So that he can see them
When he wakes up”.
When will he wake up?

If I were a rich man
I would hire assassins to kill me;
Then I would hire a bodyguard
And sit back
And watch them fight it out.

The elastic clock stretches forward,
When you go slowly
The elastic stretches,
Waste your time and it will slow down,
When it bends
Don't relax the catch
Or your life will fly away.
It will go and you can't get another,
They are rare, going off the market,
Save yours, it will do you good,
Life is good for you.
Here we go round the atom bomb, the atom bomb,
The atom bomb,
How can we stop the holocaust at five o'clock in the morning?

САМОУБИЙСТВО

Это был старый торговец,
Который ждал у причала.
«Тёмная грива и кожаный ларь –
Остановишь ли ты меня?»

В чём она, повесть карты?
Она знает секреты мира,
В своих четырёх углах
Таит мировую страсть.

Карта может поведать
Жажду встретиться с Богом
В доме его;
Девушка в церкви
Кладёт цветы на алтарь –
Туалетный столик Иисуса,
Чтобы он их увидел,
Когда проснётся.
О, когда он проснётся?

Если б я был богат,
Я бы нанял моих убийц,
А потом бы нанял охрану,
И сидел,
И смотрел бы, кто победит.

Время спешит вперёд,
Пока ты шагом идёшь
В бегущее время.
Потеряй его – и оно помедлит.
Как затихнет,
Больше не отпускай,
Иначе жизнь отлетит.
Улетит, и другой не будет.
Весел тот, кто идёт с базара.
Спаситесь себе во благо,
И жизнь прекрасна.
А мы кружим у атомной бомбы, атомной бомбы,
Атомной бомбы.
Как же мы остановим в пять утра конец света?

1971

GHOSTS

Ghosts inhabit crowds;
Look around and you will see them,
Many thousands,
Each with a hell of his own.
Ghosts inhabit trains,
Disguised as your reflection
in the window;
You see yourself
And the ghost is doomed
To be you, to move
In your style.
Ghosts make up the world,
The world is full of ghosts
That never lived before.

ДУХИ

Духи вселились в толпы;
Оглянись – и ты их увидишь,
Много тысяч,
Каждый со своим адом.
Духи вселились в поезд,
Притворясь твоим отраженьем
в стекле окна;
Видишь себя,
А дух обречён
Быть тобой, двигаться
Так, как ты.
Духи делают мир,
Мир полон духов,
Никогда не живших доселе.

1971

FURIES*

Truth behind the wall,
Truth around the corner
Dropping its shadow
In the dark midnight;
Conscience takes the form
Of cupboards and of windows,
Of the one bright star outside,
Of strange but explainable noises.
They come only to him
Who wants them,
Not consciously on the surface
But in the inwardness of guilt.
He expects them
As an old man expects death,
He knows them
As he knows a friend,
He does not worry about
Their coming but is only curious.
He has compassion now,
Now that he must.
Even if he does not know the Truth,
Even if he was not at fault,
He still would pay
For fear of Them
And give the gods their sport,
Like the hunter who does not hunt
Lest he spoils the king's pleasure.

ФУРИИ**

Истина за стеной,
Истина за углом
Бросает тень
В полночный час.
Совесть встаёт во тьме
Шкафом или окном,
Одинокой звездой в ночи,
Станным, но объяснимым звуком.
Всё это лишь для того,
Кто хочет –
Не чтоб обмануть себя,
Но в сердце своей вины.
Он ожидает их,
Как старик ожидает смерть,
Он знает их,
Словно знает друга,
Не приход их его тревожит,
А только лишь любопытство.
Теперь в нём есть состраданье,
Раз уж должно быть.
Не знай он Истины той

И не попади впросак,
Он всё же платил бы
Из страха пред Ними,
И нёс богам свою дань:
Так охотник оставит дичь,
Чтоб не портить день королю.

1972

*, ** Фурии – древнеримские богини мести (Прим. перев.).

RELAXATION

Watch the sun setting
Above the hill of our contrivances;
Has it been so bad a day
As we come to consider it?
Now that the leopard's changed his spots,
Now that the sun is gone,
As you lie in your bed*
And think
Was it as bad** as all that?
Really?

РАССЛАБЛЕННОСТЬ

Смотри-ка, солнце садится
Над грудой наших затей;
Был ли день и вправду так плох,
Как кажется нам с тобой?
Когда горбатого могила исправит,
Сейчас, когда солнце сядет,
Когда ты лежишь в постели,
Думая,
Плохо ли это, как всё?
Вправду?

1971

*** Вероятно, игра слов: «bed» - постель, «bad» - плохо. (Прим. перев.).

DEATH-CYCLE

Moss on the rusty helmet,
Insects in the comfort of the boots,
Fragments of clothing in the nests of birds,
Flies finding easy food,
A spider's web between the feet
And a lizard at home in the skull.
This man was not wasted,
He provided comfort, home and food
For the creatures of the field*,
A compensation
For destruction,
From one death
Is formed many lives.
Life is the same
In man or fly or bird,
Nature restores herself
And life and death are one in the field**.

ЦИКЛ СМЕРТИ

Мох на дырявом шлеме,
Мошки в тиши башмаков,
Обрывки тряпья в птичьих гнёздах,
Славная пища для мух,
Паутина между ногами
И в черепае ящерики дом.
Человек не пущен по ветру,
Он принёс уют, дом и пищу
Мелким тварям полей,
Возмещение
За разрушение.
Одна смерть
Даёт много жизней.
Жизнь ведь одна
В человеке, мухе и птице,
И жизнь со смертью едины,
В бою возрождая мир.

1971

*,** Игра прямого и переносного значения слов: в первом случае «field» - буквально «поле», во втором «in the field» означает также и «на войне, в полевых условиях». Тем самым поле, где гниёт труп солдата, становится символом всей природы.

THE FACTS OF LIFE

I am not a student of science
But I know a little physics:
The reaction between two emotions,
Which shall remain nameless,
Meet in silence
When time is still.
Neither do I know much about law,
But I know that one law must be kept:
When two certain emotions meet
It is illegal to interfere with their progress.
I am no great lover of statues,
But there are monuments raised
To those specific emotions
And these must never be defaced.
I know these two emotions do not haunt
Most men, but they haunt me,
And, with that little science, that little law
and that small remnant of culture
I keep myself from death.

ФАКТЫ ЖИЗНИ

Я не изучаю науки,
Но немножко физику знаю:
Когда два чувства столкнулись,
Что останутся безымянны, -
Встреть их молча,
Пока есть время.
Также я не знаток законов,
Но один закон неизменен:
Коль столкнулись два ясных чувства,
Их нельзя торопить бездумно.
Я совсем не любитель статуй,
Но воздвигнуты монументы
Двум особенным чувствам,
И они вовек не померкнут.
Я знаю, те чувства чужды
Большинству, но ко мне приходят.
И с этой наукой малой,
И с этим малым законом,
и с жалким клочком культуры
Я спасаюсь от смерти.

1972

THE JUDGEMENT OF A SOUL

The day is passing
Into the oblivion of late post-meridian
By the old trees that died
Oh, so long ago
And passed to the land of the mindless
For no one gave trees free-will.
There sleeps a being
At his last hour after relief
From his fleshly coffin,
Resting in Death's hotel,
Well, it is expected,
He must reserve his strength
For the trial of a soul.

After the occasion, the count.

II.

Hell is not a red room
Brimming with fire,
Silence, impossible for screams and groaning.
Hell is the complaining,
 the impatience,
 the indignation and the non-comprehension,
All suspense, hate, ungratefulness.
Hell is people like you
 being like you,
Hell is meeting yourself
 mirrored in others,
Hell is mirroring others.
The realisation
And expression of your own desires.

III.

Wait! I am being hasty,
I have heard rumours,
Rumours of a story,
A new handful of straws to clutch at.
I have heard that the Christ
Rose from Hell after three days,
He was here, surely
He will have mercy
Knowing what it is like.
Yet...
 He knows all,
Why should one thing concern Him
 More than another,
Why should He care about anything?
On whose information was this thing based?
Still,

A straw is better than nothing
If no return to faith...

 You did not
Start the rumour.

No feast without cost.

IV.

Heaven's gates are opened on the sight,
Here is Limbo,
Here we queue for judgement.
Now we hope,
 Now we pray,
Now we remember how we doubted the rumour.
Now we discuss each other's chances,
Here we are hopeful for each other
Because we do not want
To wreck our own chances
By being proud,
Though we care not if another fails
Because of pride...
My turn soon.
The sky is blue here
Not black,
It is cool here
Not humid.
The person in front goes in...
Think of something else,
Now, now, now, now it is me...

After the feast, the payment.

ДУША НА СТРАШНОМ СУДЕ

Мир ускользает
В забвенье после полудня
Мимо старых деревьев, погибших
О, так давно,
Ушедших в почву бездумья –
Слепой подарок судьбы.
Туда, где спит существо
В последний час после бегства
Из тесного гроба плоти,
Отдыхая в отеле Смерти.
Ну что же, это понятно:
Ведь нужно силы сберечь
До судного дня души.

Причина ждёт обвиненья.

II.

Ад – не красное место
В брызгах огня,
Молчанье, невыносимое для криков и стонов.
Ад – мольба,
нетерпенье,
возмущенье и непониманье,
Вся неизвестность, ненависть и неблагодарность.
Ад – такие, как ты,
Жизнь, как твоя,
Ад – встреча с собой,
в других отражённым,
Ад – отраженье других,
Осознание
И выраженье своих желаний.

III.

Стойте! Я поспешил.
Я слышал толки –
Толки о басне,
Новой соломинке утопавшим.
Я слышал, Христос
Восстал из Ада в три дня.
Он был в нём, а, значит,
Ему везёт
Узнать, каково там.
Правда...
Он знает всё.
Зачем Ему волноваться
Об одном больше, чем другом?
Зачем Ему волноваться хоть о чём-то?
И кто нам наплёл такое?
Однако
соломинка лучше, чем утопнуть,
коль нету возврата к вере...
Не ты же болтал всё это.

Бесплатный сыр – мышеловка.

IV.

Врата неба открыты напоказ.
Здесь Лимб,
Здесь мы ждём суда вереницей.
Сейчас надеемся,
Сейчас молимся,
Сейчас помним, как сомневались в слухах.
Сейчас обсуждаем шансы друг друга,
И при этом болеем друг за друга,
Так как боимся
Потерять наши собственные шансы,

Будучи гордым,
Хотя нам плевать, коль другие рухнут
Из-за того же...
Мой черёд скоро.
Небо здесь голубое,
Не чёрное,
Свежо,
Но не сыро.
Человек предо мной заходит...
Думай о чём-нибудь другом,
Вот, вот, вот, вот уже мне...

За угощением – плата.

1972

Time and Space*

Before, now, after,
Now and then,
In the night of the sea
And the power of the land
Is no failing.

The cross in Christ
And the cross in man,
All together in a cross
Is no failing.

All to fire
All to God
Is no failing.

All falls
For the last spate of justice
To mourn now, to hate before, to think not of after.

As it was in the beginning,
Is not now,
And never shall be
In the end. **

1971

Время и Пространство

Прежде, сейчас, потом,
Иногда,
У моря в ночи
И во власти земли
Нет нам забвенья.

Крест на Христе
И в каждом из нас,
Все на кресте –
Нет нам забвенья.

Всё – огню,
Богу – всё,
Нету забвенья.

Всё падёт
Пред последним судом:
Ныне скорбеть, ненавидеть «вчера», не думать о «завтра».

Ни ныне,
Ни присно,
Ни во веки веков. ***

1971

* Я предпочитаю в заглавиях прописные буквы, но, чтобы передать авторскую орфографию, использую также строчные, если склонный к олицетворениям автор пишет то или иное слово с прописной.

,* Перефразированная автором цитата из «Gloria Patri» (в англиканской литургии - «Glory Be to the Father», или, по-русски, «Краткого славословия», обращённого к Пресвятой Троице):

«As it was in the beginning, is now, and ever shall be:
world without end. Amen».

(«Как это было в начале, есть ныне, и вечно будет:
мир без конца. Аминь».

Церковнославянский перевод с греческого: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно,**** и во веки веков. Аминь». Таким образом, мой перевод не совсем точен. У Тома Холта буквально: «Как это было в начале, ныне уже нет, и никогда не будет в конце». Но поскольку автор скорее всего переосмыслил не отдельные части традиционной литургической формулы, а всю её целиком, и ради поэтичности перевода мы в данном случае следуем знакомой читателю традиции).

**** «Присно» - (церк.-слав.): «Всегда».

DEATH IS A STATE

Death is a state that is arbitrary
And it is proven that all are dead
To the chosen *lifeless*, the immortal,
Those unlucky are dead
To the stupid life-holders
The dead are finished,
Dead.
Thus dead kill dead.

I watch, I wait,
I never win,
I hunt and never
Kill. Running
They dodge my spear,
My arrows miss
For they are protected.

Life is but a useless struggle,
We fight, we die,
We die.
Why die rich?
Why die old?
Death is arbitrary
Also.

СМЕРТЬ – ЭТО ГОСУДАРСТВО
Смерть – это государство-деспотия,
Где, как известно, все мертвы
Для избранных *внежизненных*, бессмертных,
Которые, увы, мертвы
Для всех живых глупцов.
Смерть кончена,
Мертва.
Убила смерть.

Я смотрю, я жду,
Я никогда не выиграю,
Я охочусь и никогда
Не убью. На бегу
Они уклоняются от копья,
Мои стрелы бессильны
Пред их защитой.

Жизнь – только бесполезная борьба.
Мы боремся, мы гибнем.
Гибнем.
Что ж гибнут богачи?
И старики?
Смерть – это деспотия,
Как и все.

1971

THOUGHT (I)

Thought is a long-boat paddling through the shallows,
Slow boat moving on the docile stream.
Time cannot rule thought,
Can thought rule time?

No matter how it comes, the thought comes,
In a flash, or with the slow boat,
Coming with the tide and the dusk.
Wait for dusk for thought,
Wait for eternity for inspiration.

МЫСЛЬ (I)

Мысль – это баркас, ковыляющий через отмель,
Тихоход в послушном потоке.
Время не управляет мыслью.
Может ли мысль им править?

Неважно, как она движется, наша мысль –
Сполохом или тихой лодкой,
Просыпаясь в сумерки при отливе.
Ожидай сумерек для мысли,
Вечности жди для вдохновенья.

1971

Then Absolution

I was never content
With the absolute maximum*,
It was always too much,
Yet too little,
Never perfect
In either direction.
Always the necessity
To express one's views
To a brick wall
That does not respond
When you are wrong.
I would rather see
The Inferno swelling red
Inside the chamber of my perfection,
Bringing everything to dust,
For only in dust can one see
One's achievements.
For everything is dust**,
Refined, compressed,
Only the elements
Are not composed of dust,
There is not much left
After that great reduction.
And the world can be reduced
To nothing by the mind
Of the philosopher,
The world, the smallest bone
In the skeleton
Of Eternity.

Затем Отпущение

Меня не радует
Абсолютный максимум.*
Это всегда так много,
И всё ж так мало,
Несовершенно
В любом значении.
Вечно потребность
Выразить взгляды
Стенке кирпичной,
Что не ответит,
Коль ты ошибся.
Лучше увидеть
Ад, пухнувший красным
В комнате моего совершенства,
Всё превращая в прах –
Ведь только в прахе увидишь
Все достижения.
Ибо всё прах,**
Очищенный, сжатый.

Одни элементы
Не созданы прахом –
Немного осталось
В великом горниле.
Ум философа так же
Мир уничтожит,
Мир – мельчайшую кость
В скелете
Вечности.

1972

*Абсолютный (глобальный) максимум и глобальный минимум – термины математического анализа. Под ними понимается крайнее значение числовой функции на всем множестве значений, принимаемых данной функцией. Здесь, вероятно, в значении «вечность», «вечно недосыгаемая истина».

** Видимо, Библия была постоянным источником вдохновения для Тома Холта – и хотя это вполне соответствует «нахватанной» эстетике мордернизма, юный поэт, в отличие от модернистов, пользуется библейскими аллюзиями всегда уместно и в меру. Органично включить библейские темы и образы в свой стих непросто и взрослому поэту – именно из-за их «затёртости», «расхожести» и обманчивой доступности (так рок-звезда хрипит в микрофон, убеждая поклонников и себя, что это пение). Но Холт каждый раз переосмысляет библейскую образность по-своему, с точки зрения собственной, абсолютно не детской и ни у кого не «списанной» философии. В данном случае см.: Ecclesiastes, III, 20: «All came from the *dust* and all return to the *dust*». - Экклезиаст, III, 20: «всё произошло из *праха* и всё возвратится в *прах*»; IV, 4: “Next I realized that all effort and *achievement* stem from one person’s envy of another. This too is futility and feeding on wind.” - IV, 4: “Видал я также, что всякий труд и всякий *успех* в делах производят взаимную между людьми зависть. И это – суета и томление духа!»; Genesis III, 19: “For you are *dust*, And to *dust* you shall return”. - Бытие, III, 19: «ибо *прах* ты и в *прах* возвратишься».

Pretence is what you call

Pretence is what you call
A novel weapon
In the way of weapons,
As patience and perfection,
The last piece of iron
To be smelted
The last piece of wood
To be burnt,
The last candle to be extinguished.
This is the battle
That is fought by Pretence,
Pretence of patience.

II.

Humanity is a desert
That lasts as far
as the eye
can
see.
Civilisation is a loneliness
With no one there
to be seen.
Death is an isolation
When the echo
resounds
against the wall.

III.

The graven image
is ironed out
to be the
only one that is all together
And when the death is done
Life is again.

Обман есть то, что зовёшь

Обман есть то, что зовёшь
Новым оружием
В мире оружия,
Терпенье и совершенство,
Последний кусок железа,
Чтобы плавить,
Последняя хворостина,
Чтобы сжечь,
Последняя свечка, чтоб задуть.
Всё это битва
По воле Обмана,
Обмана терпенья.

II.

Человечество есть пустыня,
Что тянется вдаль
 сколько
 видит
 глаз.

Цивилизация – одиночество,
Где никого,
 никого не видно.

Смерть – изоляция,
Где эхо
 отражается
 от стены.

III.

Библейский идол
Приглажен,
Чтоб быть
Единственным в мире единым целым,
И когда смерть убита,
Жизнь начинает.

1972

Dulce Domum*

The old man sits in the shade
Remembering when fields ranged out
From the quiet village,
Where farmers grazed the cattle
Silently rejoicing in the spring air,
The newly reborn hedges
Crying out in the mimicked voice of birds,
Birds that audaciously preached
Cheerful resistance to knowledge and change.
But then a war came

So he marched away.

How it all looked the same
Still, the cattle, hedges and birds.
Like a church fête or a fair, recruiting started,
(How far from war was this illusion)
Men marching away as if to harvest.
Boats, barges and the sea,
Like a blue cover on a man's bed,
Writhing as Poseidon twitched and moved,
Then the war, the guns, the shadows,
And he pondered:

These men he fought and never saw
Had marched from their village across the sea.

At home the fields were overgrown,
Corn rotted and gates mouldered,
The spring was here, birds sang
And the weed-choked hedges still smiled,
Eyes like wild poppies** and a mouse of white daisies,
Many were dead

But many lived on,
Changes, but not felt, continued.
Twenty or thirty years went past before
He noticed he was again at war.
Now he was too old

To see his friends die in France,
So he joined the Home Guard with the others.
It was spring again, but new birds sang,
Bombers and fighters, winding like flies with thick black tails.
How comical they looked,
Half dressed in khaki, half in oldest clothes,
Pitchforks and axes, hoes and shotguns now
To drive the enemy away, perhaps by hoping,
These old men in their innocence
Thinking they could save their country –
Still, beer was rationed, the village green was ploughed.
The war passed.

Now times changed.
Instead of mushrooms factories grow in Willow Field,
And farmer Myles bought machinery and went to conferences.
He had never been from home, save when he went to France,
But now he lived in an old folks' council flat.

Yes, it was better

To live on his black and white memories of childhood,
His naive illusions of how it was better,
Than to risk living it again

And ruin them.

Dulce Domum*

Старый человек сидит в тени,
Вспоминая о просторах полей
Вкруг тихой деревни,
Где фермеры пасут своё стадо,
Молча наслаждаясь весенним воздухом.
Подновлённые изгороди
Кричат дразнящими голосами птиц,
Птиц, что проповедуют нагло
Весёлое неприятие знания и перемен.
Но дальше была война,

И вот он ушёл в поход.

О, всё смотрелось как прежде –
Стадо, изгороди и птицы.
Как ярмарка или церковный праздник, шла вербовка
(Так далеко от войны был этот мираж).
Люди маршировали, словно на жатву.
Лодки, баржи и море
Голубым покрывалом на постели,
Которое измял Посейдон.
Потом война, орудия, тени,
И он надумал:

Те, с кем он дрался, но никогда не видел,
Пришли из своей деревни и из-за моря.
Дома поля пошли сорняками,
Хлеба гнили, и ворота рассохлись.
Там была весна, пели птицы,
Задушенные сорняком изгороди ещё улыбались.
С глазами, как дикий мак,** и белым ртом-маргариткой,
Многие гибли, но многие жили дальше,
Изменяясь, но не чувствуя это.
Двадцать иль тридцать лет миновали прежде,
Чем он заметил, что опять на войне.
Он был уже слишком стар,

Чтоб видеть гибель друзей во Франции,

И он вступил в нацгвардию, как другие.
Снова была весна, но пели новые птицы,
Бомбардировщики, истребители с толстыми, чёрными хвостами.
Как смешно они выглядели –
Кто в хаки, кто в поношенном платье.
Мотыги и топоры, дробовики и вилы,
Чтобы прогнать врага – быть может, надеждой?
Те старики, простота святая,
Думали, что спасут отчизну –
Пока же пивной паёк и вспашка лугов.

Война кончилась.

Время переменялось.

Вместо грибов – фабрики в Ивовом Поле,

И фермер Майлс покупает технику и ездит на слёты.

Он никогда не покидал дома, спасённый в краю французов,

Но сейчас он жил в старой муниципалке.

Да, так было лучше –

Жить в чёрно-белых воспоминаньях детства,

В наивных иллюзиях, как оно было лучше,

Чем рисковать пережить их снова,

Чтобы разрушить.

1973

* «Dulce Domum» (лат.) – «милый дом», точнее – «радостное возвращение домой»: школьный гимн Винчестерского Колледжа, старейшего в Англии учебного заведения для мальчиков, популярный также в других английских школах. Воспринимается как выражение радости по поводу начала каникул и отъезда домой, но и как идиллическое изображение школьной жизни. Тем не менее, легенда гласит, что текст этот написал в конце XVII столетия ученик, наказанный главой (мастером) Колледжа за провинность и даже прикованный к колонне, в то время как его сверстники разъехались по домам. Вырезав слова гимна на коре дерева, названного позднее "Domum Tree", и тем излив свою скорбь, он затем утопился в речке. В память о нём в старину устраивались ежегодные шествия учащихся, сопровождаемые мастером, капелланами, органистом и хористами; шествие должно было трижды обойти колонну, к которой был прикован злосчастный. Таким образом, помимо авторского переосмысления у Тома Холта имелись и формальные основания употребить данное латинское выражение с иронией.

**Дикий мак в англоязычной поэзии является символом жертв Первой мировой войны и всех военных конфликтов. См. «Википедию», статья «Красный мак (символ памяти)». Цитируем также более подробную статью «На полях Фландрии» (без ссылок):

«*На полях Фландрии*, в других переводах *В полях Фландрии* — известное стихотворение, написанное во время Первой мировой войны подполковником канадской армии, военно-полевым хирургом Джоном МакКреем. Произведение создано 2 мая 1915 года, в тот день, когда Джон отправлял в последний путь своего друга и сослуживца, лейтенанта Алексиса Хелмера, павшего во Второй битве при Ипре. Его могила находится посреди поля, усеянного цветами красного мака, недалеко от госпиталя, где работал Джон. Именно там, под впечатлением от пережитого, МакКрей и написал стихотворение. Хотя сослуживцы Джона прониклись стихотворением, сам он поначалу не верил в свою работу. Первая публикация состоялась 8 декабря 1915 года в лондонском журнале *Punch*.

В полях Фландрии — одно из популярнейших стихотворений о Великой войне. Люди восхищались им и часто цитировали. Из-за большой популярности поэму использовали и в других целях — таких, как пропаганда мобилизации или получение прибыли от продажи военных облигаций — видя знакомые строки, люди охотнее записывались на фронт или покупали ценные бумаги. Именно в данном стихотворении впервые упомянуты красные маки, ставшие символом жертв первой из мировых войн, а впоследствии и жертв всех военных конфликтов. В самой Канаде произведение — литературный памятник и важный элемент национального самосознания. Также оно почитается

Содружеством наций. В США поэма связана с Днём ветеранов — одним из национальных праздников.

(...) Красные маки и до МакКрея были символом, связанным с войной. Некий писатель времён Наполеоновских войн писал, как красные цветы мака выросли на могилах павших воинов. Из-за ущерба, нанесённого ландшафту Фландрии во время боёв Великой войны, в поверхностном слое почвы значительно увеличилось содержание извести, поэтому мак-самосейка стал одним из немногих растений, способных расти в регионе.

Вдохновлённая стихотворением «В полях Фландрии», американский профессор Моина Майкл по завершению войны поклялась всё время носить на груди цветок красного мака в знак солидарности с погибшими в Первой мировой войне. Также она написала ответное стихотворение под названием «Мы сохраним веру». Она раздавала шёлковые маки друзьям и знакомым и добивалась, чтобы красный мак был принят в качестве официального символа памяти Американского легиона. Француженка мадам Е. Guérin, посетив США, приняла участие в конвенции 1920 года, где Легион поддержал предложение Майкл. Она же стала продавать красные маки во Франции, собирая деньги для детей-сирот — жертв ужасной войны. В 1921 году Guérin отправила образец шёлкового мака торговцам Лондона перед Днём перемирия, чем привлекла внимание фельдмаршала Дугласа Хейга. Соучредитель Королевского британского легиона, Хейг поддержал её инициативу и помог в продвижении товара. В ноябре того же года красные маки стали носить в Канаде, а позже и во всей Британской империи. До настоящего времени перед Днём памяти красные маки носят в странах Содружества наций, в частности, в Великобритании, Канаде и Южной Африке, перед Днём Ветеранов в Австралии и Новой Зеландии, а также просто неравнодушные люди».

Мы потому столь подробно останавливаемся на популярности дикого мака как символа памяти о жертвах, что Холт весьма «снижает» его, уподобляя налитым кровью глазам погибающих солдат, в контексте, где речь до этого шла о сорняках. К тому же белая маргаритка («white daisies»), упоминаемая вслед за маками, известна как средство от ран и символ детской невинности, и сравнить её с отравленным ртом умирающего (красные глаза и гноящаяся носоглотка - симптомы отравления ипритом) значит, на наш взгляд, также переосмыслить образ.

BEYOND

Beyond the dungeon wall are the wide fields,
Green and airy where the sheep graze
And birds sing in a cheerful tone;
Each little blade of grass
Is alive, each tiny fly
Lives its own life, oblivious of man.
Amid the waving trees
Squirrels leap in a perpetual game,
Audacious sparrows fly, singing.

Beyond the hills, the bay,
And after, the green and friendly sea,
Leading on, mile after mile,
To the wide plains of the ocean.
There is the realm of albatross and whale,
Echoing to the gull's cry and the splash
Of the playful dolphin.
On the horizon, where sea and sky
Are joined, are foreign isles
Of dark-skinned merchants and green jungles,
Of gaudy coloured birds and dazzling flowers,
Vast lands of palms and foliage
Fading against the mountains,
Whose heads are as white
As those of the Elders,
And above, Elysium,
Paradise, which holds a mirror
To the free fields, the rolling oceans,
The vast forests and the dazzling beauties.

The dungeon has a gate called Death,
Beyond it, the fields and oceans,
Much greener and brighter
Now they are in your grasp.

ЗА

За башней – неоглядные поля
В зелёной дымке, где пасутся овцы
И птицы весело поют;
И каждая травинка
Жива, любая мошка
Живёт собой, забыв о человеке.
Меж дышащей листвы
Заводят белки вечную игру,
Нахалы-воробыи летают с песней.

За взгорьями, за бухтой
Зелёное и ласковое море
Влечёт и манит, милею за милей,
В широкие равнины океана –

Владенья альбатросов и китов,
Где эху чаек отвечает плеск
Играющих дельфинов.
На горизонте, там, где небо с морем
Сливаются, чужие острова
Торговцев-негров и зелёных джунглей,
Цветастых птиц и радужных цветов,
Просторы пальм и лиственная сень,
Поблёкшая у гор,
Чьи головы седые,
Как у старейшин.
А выше –
Элизиум,
Рай тот, что держит зеркало, и в нём -
Полёт полей, скольжение океанов,
И ширь лесов, и буйство красоты.

У башни есть ворота – Смерть,
За ними – океаны и поля
Намного зеленей и ярче.
Сейчас они твои – лишь пожелай.

1972

BLACK

Black houses
 littering
Black streets,
Put there by town councils in a
Black mood;
Black looks,
Black Magic
 chocolate boxes strewn around;
Black doctors
 with
Black bags;
Black Marias*
 chasing
Black-hearted robbers
 going into
Black oblivion
 until the fuss dies down.
Black look-out
 for
Black London.

ЧЁРНЫЙ

Чёрные дома
 засоряют
Чёрные улицы
По вине чёрной меланхолии
Отцов города;
Чёрные виды,
Чёрная Магия
 рассыпанных шоколадных боксов;
Чёрные доктора
 с
Чёрными сумками;
Чёрные Марии*
 преследуют
Разбойников с чёрными сердцами,
 идуших
Во тьму амнистий,
 покуда не стихнет шум.
Чёрная настороженность
Чёрного Лондона.

1971

* «Чёрные Марии» - тюремные кареты.

MUSKETRY

As the battle rages, by the wood
Where the bullets fly, there is a flower
In full blossom, white in colour,
Its delicate leaves face the sky,
And beside it lies the corpse of a soldier,
Whose head is beaten in with the butt of a gun,
A bayonet wound staining his grey uniform.
This is a young man, who yesterday
Sang on the road as he marched,
Had no hate for the men he killed,
Or for those who killed him.
He joined the army to escape the law,
A death either way, dead by
The heap of corpses in the wood
At Lookout Hill.

СТРЕЛЬБА

Там, где бой грохочет, у леска,
Где летают пули, распустился
Белый незапятнанный цветок,
Нежным лепестком навстречу небу,
Осенив собою труп солдата -
Рана от приклада на виске,
Рана от штыка на серой форме.
Этот юноша шагал вчера
По дороге с маршевою песней,
Ненависти к тем, кого убил,
Или кто его убьёт, не зная.
От закона в армию бежал –
Всё равно придёт один конец
Грудой тел, оставшейся в лесу
На Холме Дозорном.

1970

THE APPLE TREE

There is an apple tree
Outside in the garden,
Its leaves cover the ground in autumn;
When it drops its leaves the tree weeps,
Calling them back, to make them fall again.

Men are like the apple tree
Outside in the garden:
Corpses cover the ground in war-time;
When it loses its young men the world weeps,
Calling them back to give them glory.

When the tree drops its branches
It is weakened,
When it drops its leaves
It is not weakened:
Leaves will grow again.

When the world loses its resources
It is weakened,
When the world loses its young men
It is not weakened:
Young men will grow again.

ЯБЛОНЯ

Яблоня облетает
Там, в саду.
Её листва покрывает землю.
Теряя листья, дерево плачет,
Зовёт назад, чтоб опять упали.

Люди словно яблоня
Там, в саду:
Трупы покрывают землю в войну;
И, теряя молодых, плачет мир,
Зовёт назад, чтобы дать им славу.

Если дерево потеряет ветви,
То слабеет.
Если дерево потеряет листья,
Не слабеет:
Листья вырастут снова.

Когда мир теряет прибежище,
То слабеет.
Когда он теряет молодых,
Не слабеет:
Молодые вырастут снова.

1971

α AND Ω MEET

Death has found the fire
And cooled the light.
When darkness is lighted again
But by imaginings
And the silence is deafening
All the pictures are blurred,
All vision is dying,
When out of the fire comes time's ghost,
He stands, taut in every muscle, and is gone.
Across the pale verandah of night
He goes to snatch the moon,
While black lightning roars silently,
The last ashes in the fire.

Smell the smell of damp grass,
The smell of uncovered earth,
The smell of the skull,
The tremor of touching the dead,
Of lifting a dead arm,
The moment when it drops.

In the labyrinth lurks Dissolution,
A Minotaur awaiting his food.
The great black horror bellows,
Challenging a Theseus who never comes.
He must never get out:
Death, blood, cries the monster,
Red lips brimming over,
Teeth rotten with red flesh,
Face caked with blood,
Death, blood, he cries,
Scaling the great cliff,
Coming nearer.

Life has come to the point of no return;
Do not look back, but only blunder on
Until you meet the monster.

АЛЬФА И ОМЕГА ВСТРЕЧАЮТСЯ

Смерть находит огонь
И задувает свет.
Как только вернётся тьма,
Но в виде фантазий сна,
Тишина заглушает всё,
И туманится вид вещей,
И любая умрёт мечта.
Дух времени вырастет из огня,

Замрёт, напряжёт мышцы, исчезнет.
Бледной верандой ночи
Он идёт, чтоб поймать луну,
Пока чёрная молния беззвучно гремит,
Последний пепел в огне.

Нюхай запах влажной травы,
Запах голой земли,
Запах черепа,
Дрожь осязанья смерти,
Поднять мёртвой руки,
Момент, когда падёт.

В лабиринте таится Гниль,
Минотавр добычу ждёт.
Чёрный ужас ревёт вовсю,
Ждёт Тезея, что не придёт.
Он не исчезнет:
Смерть, кровь, крики монстра,
Губы брызгают красным,
Зубы воняют плотью,
Кровь запеклась на морде,
Смерть, кровь, он воет,
На большой взбираясь утёс,
Всё ближе и ближе.

Жизнь подошла к точке невозврата;
Не оглядываясь, а только иди наощупь,
Покуда не встретишь монстра.

1972

THOUGHT (II)

Thought is the moment
Between the finger and the button,
Between the shot and the impact,
The moment
In which things happen,
Things beyond the orders,
Beyond the General's HQ* message,
Beyond the smooth run of routine.

Doubt is the terror of the moment,
A thief of the road along which
Disillusion travels,
The menace of realisation
Of the outcome
Before the deed,
Asking the reason
Why it should be done.

МЫСЛЬ (II)

Мысль – это миг
Между пальцем и кнопкой,
Выстрелом и попаданием,
Миг,
Когда случаются вещи,
События без приказов,
Посланий из штаб-квартиры,
Спокойной повседневной рутины.

Сомнение – ужас момента,
Похититель дороги, по которой
Шествует Разочарование,
Угроза осознания
Исхода
Прежде деянья,
Задавания вопроса,
Зачем это нужно сделать.

1972

*Generals' HQ (Headquarters) – главная штаб-квартира

EDIFICE

Watching and waiting
The old witch looks down,
Death, Life and God
Have tried to convert her
To their causes,
But she is always immovable.
Death said that
He was the lord of all,
For all come to his great kingdom.
But the witch was wise
She defied the god
And turned herself
To immortal stone.
Life tried by saying
He was the wisest of all, for he
Processed all.
But the witch said,
“Death takes and destroys
All Life’s work,
And I have proved
Death cannot compare
With my power”.
God was most concerned
With her work.
But she had no heart
And could not be touched.

СООРУЖЕНИЕ

Глядя и выжидая,
Старая ведьма презирает.
Смерть, Жизнь и Бог
Пытались её сподвигнуть
К своим целям,
Но она непоколебима.
Смерть заявила, что
Она – госпожа всего,
Ибо все придут в её царство.
Но ведьма была мудра,
Она бросила вызов богу
И превратилась
В бессмертный камень.
Жизнь пыталась сказать,
Что она мудрее других,
Зане управляет всем,
Но ведьма сказала:
«Смерть придёт и разрушит
Работу Жизни,
И я доказала:
Смерть не может сравниться
С моей властью».

Бог был больше всех озабочен
Её работой.
Но у ведьмы не было сердца,
И её нельзя было тронуть.

1971

DAWN BREAKS OVER THE WORN FIELDS

Dawn breaks over the worn fields,
Over the great cross of tangled wire,
The crater and the wheel-less cannon,
Over the broken tanks and rifles.
Again, when Helios has gone
Half his course across the sky
This wreckage will be doubled
And I might die,
Alone in the field
Whis a bullet through my back,
Not a man lying on his death-bed,
But a corpse in a field,
One more figure on the casualty list
In the general's file.

РАССВЕТАЕТ НАД ИСТОПТАННЫМИ ПОЛЯМИ

Рассветает над истоптанными полями,
Над огромной крестовиной колючки,
Над воронкой и бесколёсной пушкой,
Искорёженной винтовкой и танком.
Когда Гелиос снова миновал
Половину небесного пути,
И обломков поприбавилось вдвое,
То мне разрешили умереть
Одному в поле
С пулей в спине,
Не человеку на смертном одре,
А телу в поле,
Лишней цифре в списке потерь
Генеральской бумаги.

1972

STATISTIC

My life is a curtained window,
A refraction of light in the mirror,
I am a flash in a snow-covered field,
Brilliant in brightness,
Not a torch in the mist
But in clear daylight.
I am the herald before the king
In bright silk, overshadowed
And so forgotten.
I am the unidentified face in the album,
A passport name, a reply in a census,
One more figure in the population statistics,
Dead while I am alive,
Only alive when dead
Until the statistics are changed.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

Моя жизнь – зашторенное окно,
Отражение света в зеркале,
Я – высверк в заснеженном поле,
Бриллиант среди блеска,
Факел – но не во мгле,
А средь ясного дня.
Я герольд перед королём -
В тени его шелков
Так забыт!
Неузнанное лицо в чужом альбоме,
Фамилия в паспорте, строчка в переписи,
Ещё одна цифра в статистике населения,
Мёртвый при жизни,
Оживающий, лишь когда
Статистике пора измениться.

1973

Out of the Mist

Half-light on a woman's face
Moving from out of the mist,
Standing in the glare of uncertain hope.
Echoing is the bird and the bomber,
Life and death, mutual
In a strange harmonious rhapsody,
Floating out of the mist.
Into the mist they march
Joyful and inexperienced,
And, when the human bread* returns
Upon the cold swift stream of life,
They come, unnatural, broken men
Who never can lift heart or voice again,
Stumbling out of the mist,
Mist that blackens out the false eyes,
Only the true eyes return, glazed,
Devoid of outward sight.
The silent tongues are melted by the mist
But this is superficial: only the eyes matter
And they are gone.
Out of the mist comes my joy and my hope,
Out of the mist comes my curse and my fall.

Из Тумана

Полусвет на женском лице,
Выступающем из тумана,
Светящемся неуверенной надеждой.
Эхо птицы, бомбардировщика,
Жизни и смерти – слились
В странную гармоничную рапсодию,
Плывущую из тумана.
В туман они маршируют,
Радостно и невинно,
И когда человечесьё племя* вернётся
К быстрой холодной реке жизни, -
Они идут, сломленные люди,
У кого уже не воспрянет сердце и голос, -
Спотыкаясь из тумана,
Тумана, что застигает лживый взгляд.
Только честные глаза возвращаются, стекленея,
Потеряв зренье.
Молчащие языки растворяются туманом,
Но это мелочь: лишь глаза имеют значение,
А их нет.
Из тумана идёт моя радость, моя надежда,
Из тумана идёт моё проклятье и гибель.

1973

*Видимо, опечатка: не «bread» (хлеб), а «breed» (племя, порода).

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)